

Николай Гаврилович Чернышевский

Что делать? Из рассказов о новых людях

(Посвящается моему другу О.С.Ч.)

Оглавление

- I
Дурак
- II
Первое следствие дурацкого дела
- III
Предисловие
- Глава первая
Жизнь Веры Павловны в родительском семействе
- Глава вторая
Первая любовь и законный брак
- Глава третья
Замужество и вторая любовь
- Глава четвертая
Второе замужество
- Глава пятая
Новые лица и развязка
- Глава шестая
Перемена декораций

I Дурак

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 9-м часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь номера и, пошумев ножом и вилок, пошумев чайным прибором, скоро притих, — видно, заснул. Пришло утро; в 8 часов слуга постучался к вчерашнему приезжему — приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно — приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга дождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать двери». — «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к 10 утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, — успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ка под кровать» — и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, — на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2 и 3 часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, — сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине 3-го часа ночи — а ночь была облачная, темная — на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие, — никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? — ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, — поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный, или просто озорник, подурчился, — выстрелил, да и убежал, — а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое подурчился — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», — было мнение одних консерваторов; «промотался», — утверждали другие консерваторы. — «Просто дурак», — сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, — все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подурчился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и

не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту, — кто же стреляется на мосту? как же это на мосту? зачем на мосту? глупо на мосту! — и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, — следовательно, не застрелился. — Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть посмотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, — все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак», — и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! это, чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, — умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, — да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно.

II

Первое следствие дурацкого дела

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны, — говорила песенка, — но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас, — это дело пойдет, — поживем, доживем —

Ca ira
Qui vivra, verra.¹

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, — это дело пойдет, оно скоро придет, всеждемся его, —

Donc, vivons,
Ca bien vite ira,
Ca viendra,
Nous tous le verrons».²

1

Дело пойдет,
Кто будет жить — увидит

(франц.), — Ред.

2

Итак, живем,
Оно скоро придет,

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, — было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, — по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, — исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепенется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

— Посмотрите, Маша, каково я шью? я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

— Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

— Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» — и опять рыданье.

— Верочка, что с тобой? разве ты охотница плакать? когда ж это с тобой бывает? что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было не велико, всего-то слов десятка два:

«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец, он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела попрежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

— Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

— Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

— И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват — я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Оно придет,
Мы его увидим

(франц.) — Ред.

Она задыхалась от рыдания.

— Верочка, — тихо и робко сказал он: — друг мой...

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:

— Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, — я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди.

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, — и все пройдет... пройдет»... А перо, без его ведома, писало среди какой-то статьи: «перенесет ли? — ужасно, — счастье погибло»...

— Милый мой! я готова, поговорим! — слышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

— Милый мой, мы должны расстаться. Я решила. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, — и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдаль от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, — где? в Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь, простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь — тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее, — она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее — видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

— Довольно, иди. — Она отняла руку, он не смел противиться. — Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «кто это бежит за мною? верно, Маша... верно с нею дурно!» Он обернулся — Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь, прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

III

Предисловие

— «Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина, — это хорошо, хотя бы

сама повесть и была плоха», — говорит читательница.

— Это правда, — говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, — ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит, — читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею, — читатель говорит: «я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, — правда? — ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкой эффектности. Не осуждай меня за то, — ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попала в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как по-моему следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью: не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди — это ты: что же ты так зла к самой себе. Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что это за писатель, так нагло говорящий со мною? — я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, — ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.

Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! В нем все-таки больше художественности, чем в них: можешь быть спокойна на этот счет.

Поблагодари же меня; ведь ты охотница кланяться тем, которые пренебрегают

тобою, — поклонись же и мне.

Но есть в тебе, публика, некоторая доля людей, — теперь уже довольно значительная доля, — которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством, я нагл, — но только с ним, и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже не мало, и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — потому мне еще нужно и уже можно писать.

Глава первая

Жизнь Веры Павловны в родительском семействе

I

Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное.

Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой, между Садовой и Семеновским мостом. Теперь этот дом отмечен каким ему следует номером, а в 1852 году, когда еще не было таких номеров, на нем была надпись: «дом действительного статского советника Ивана Захаровича Сторешникова». Так говорила надпись; но Иван Захарыч Сторешников умер еще в 1837 году, и с той поры хозяин дома был сын его, Михаил Иванович, — так говорили документы. Но жильцы дома знали, что Михаил Иванович — хозяйкин сын, а хозяйка дома — Анна Петровна.

Дом и тогда был, как теперь, большой, с двумя воротами и четырьмя подъездами по улице, с тремя дворами в глубину. На самой парадной из лестниц на улицу, в бель-этаже, жила в 1852 году, как и теперь живет, хозяйка с сыном. Анна Петровна и теперь осталась, как тогда была, дама видная. Михаил Иванович теперь видный офицер и тогда был видный и красивый офицер.

Кто теперь живет на самой грязной из бесчисленных черных лестниц первого двора, в 4-м этаже, в квартире направо, я не знаю; а в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константиныч Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с женою Марьею Алексевною, худошавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею — она-то и есть Вера Павловна — и 9-летним сыном Федею.

Павел Константиныч, кроме того, что управлял домом, служил помощником столоначальника в каком-то департаменте. По должности он не имел доходов; по дому — имел, но умеренные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константиныч, как сам говорил, знал совесть; зато хозяйка была очень довольна им, и в четырнадцать лет управления он скопил тысяч до десяти капитала. Но из хозяйкина кармана было тут тысячи три, не больше; остальные выросли к ним от оборотов не в ущерб хозяйке: Павел Константиныч давал деньги под ручной залог.

У Марьи Алексевны тоже был капиталец — тысяч пять, как она говорила кумушкам, — на самом деле побольше. Основание капиталу было положено лет 15 тому назад продажей енотовой шубы, платьишка и мебелишки, доставшихся Марье Алексевне после брата-чиновника. Выручив рублей полтора, она тоже пустила их в оборот под залоги, действовала гораздо рискованнее мужа, и несколько раз попадалась на удочку: какой-то плут взял у нее 5 руб. под залог паспорта, — паспорт вышел краденый, и Марье Алексевне пришлось приложить еще рублей 15, чтобы выпутаться из дела; другой мошенник заложил за 20 рублей золотые часы, — часы оказались снятыми с убитого, и Марье Алексевне пришлось поплатиться порядком, чтобы выпутаться из дела. Но если она терпела потери,

которых избегал муж, разборчивый в приеме залогов, зато и прибыль у нее шла быстрее. Подыскивались и особенные случаи получать деньги. Однажды, — Вера Павловна была еще тогда маленькая; при взрослой дочери Марья Алексевна не стала бы делать этого, а тогда почему было не сделать? ребенок ведь не понимает! и точно, сама Верочка не поняла бы, да, спасибо, кухарка растолковала очень вразумительно; да и кухарка не стала бы толковать, потому что дитяти этого знать не следует, но так уже случилось, что душа не стерпела после одной из сильных потасовок от Марьи Алексевны за гульбу с любовником (впрочем, глаз у Матрены был всегда подбитый, не от Марьи Алексевны, а от любовника, — а это и хорошо, потому что кухарка с подбитым глазом дешевле!). Так вот, однажды приехала к Марье Алексевне невиданная знакомая дама, нарядная, пышная, красивая, приехала и осталась погостить. Неделю гостила смирно, только все ездил к ней какой-то статский, тоже красивый, и дарил Верочке конфеты, и надарил ей хороших кукол, и подарил две книжки, обе с картинками; в одной книжке были хорошие картинки — звери, города; а другую книжку Марья Алексевна отняла у Верочки, как уехал гость, так что только раз она и видела эти картинки, при нем: он сам показывал. Так с неделю гостила знакомая, и все было тихо в доме: Марья Алексевна всю неделю не подходила к шкапчику (где стоял графин с водкой), ключ от которого никому не давала, и не била Матрену, и не била Верочку, и не ругалась громко. Потом одну ночь Верочку беспрестанно будили страшные вскрикиванья гости, и ходьба и суетня в доме. Утром Марья Алексевна подошла к шкапчику и дольше обыкновенного стояла у него, и все говорила: «слава богу, счастливо было, слава богу!», даже подозвала к шкапчику Матрену и сказала: «на здоровье, Матренушка, ведь и ты много потрудились», и после не то чтобы драться да ругаться, как бывало в другие времена после шкапчика, а легла спать, поцеловавши Верочку. Потом опять неделю было смирно в доме, и гостя не кричала, а только не выходила из комнаты и потом уехала. А через два дня после того, как она уехала, приходил статский, только уже другой статский, и приводил с собою полицию, и много ругал Марью Алексевну; но Марья Алексевна сама ни в одном слове не уступала ему и все твердила: «я никаких ваших делов не знаю. Справьтесь по домовым книгам, кто у меня гостил! псковская купчиха Савастьянова, моя знакомая, вот вам и весь сказ!» Наконец, поругавшись, поругавшись, статский ушел и больше не показывался. Это видела Верочка, когда ей было восемь лет, а когда ей было девять лет, Матрена ей растолковала, какой это был случай. Впрочем, такой случай только один и был; а другие бывали разные, но не так много.

Когда Верочке было десять лет, девочка, шедшая с матерью на Толкучий рынок, получила при повороте из Гороховой в Садовую неожиданный подзатыльник, с замечанием: «глазеешь на церковь, дура, а лба-то что не перекрестишь? Чать, видишь, все добрые люди крестятся!»

Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепьянный учитель, — пьяный, но очень добрый немец и очень хороший учитель, но, по своему пьянству, очень дешевый.

Когда ей был четырнадцатый год, она обшивала всю семью, впрочем, ведь и семья-то была невелика.

Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так: «отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть ли не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь да думает: «к другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка — чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою!»

Когда Верочке исполнилось шестнадцать лет, она перестала учиться у фортепьянного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе; потом мать нашла ей и другие уроки.

Через полгода мать перестала называть Верочку цыганкою и чучелою, а стала наряжать

лучше прежнего, а Матрена, — это была уже третья Матрена, после той: у той был всегда подбит левый глаз, а у этой разбита левая скула, но не всегда, — сказала Верочке, что собирается сватать ее начальник Павла Константиныча, и какой-то важный начальник, с орденом на шее. Действительно, мелкие чиновники в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константиныч, стал благосклонен к нему, а начальник отделения между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену хоть бесприданницу, но красавицу, и еще такое мнение, что Павел Константиныч хороший чиновник.

Чем бы это кончилось, неизвестно: но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай.

Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиныча взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделявать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное и не для таких бывалых людей, как Марья Алексевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедши, просидел больше полчаса и удостоил выкушать чаю (цветочного). Марья Алексевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья, очень хороших — одна материя стоила: на одно платье 40 руб., на другое 52 руб., а с оборками да лентами, да фасоном оба платья обошлись 174 руб.; по крайней мере так сказала Марья Алексевна мужу, а Верочка знала, что всех денег вышло на них меньше 100 руб., — ведь покупки тоже делались при ней, — но ведь и на 100 руб. можно сделать два очень хорошие платья. Верочка радовалась платьям, радовалась фермуару, но больше всего радовалась тому, что мать, наконец, согласилась покупать ботинки ей у Королева: ведь на Толкучем рынке ботинки такие безобразные, а королевские так удивительно сидят на ноге.

Платья не пропали даром: хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющей, которые тоже, разумеется, носили его на руках. Ну, и мать делала наставления дочери, все как следует, — этого нечего и описывать, дело известное.

Однажды, после обеда, мать сказала:

— Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила сюрприз — поедем в оперу, я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то, от расходов на тебя, уж все животы подвело. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортопьянщику-то сколько! Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная, нет, видно, души-то в тебе, бесчувственная ты этакая!

Только и сказала Марья Алексевна, больше не бранила дочь, а это какая же брань? Марья Алексевна только вот уж так и говорила с Верочкою, а браниться на нее давно перестала, и бить ни разу не была с той поры, как прошел слух про начальника отделения.

Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын, и с ним двое приятелей, — один статский, сухощавый и очень изящный, другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собою, все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски. Слов пяток из их разговора она знала: *belle, charmante, amour, bonheur*³ — да что толку в этих словах? *Belle, charmante* — Марья Алексевна и так уже давно слышит, что ее цыганка *belle* и *charmante*; *amour* — Марья Алексевна и сама видит, что он по уши врюхался в *amour*; а коли *amour*, то уж, разумеется, и *bonheur*, — что толку от этих слов? Но только что же, сватать-то скоро ли будет?

— Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная, — шепчет Марья Алексевна дочери: — что рыло-то воротишь от них? Обидели они тебя, что вошли? Честь тебе, дуре,

³ красивая, прелестная, любовь, счастье (франц.) — Ред.

делают. А свадьба-то по-французски — марьяж, что ли, Верочка? А как жених с невестой, а венчаться как по-французски?

Верочка сказала.

— Нет, таких слов что-то не слышно... Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала? Смотри у меня!

— Нет, так: только этих слов вы от них не услышите. Поедьте, я не могу оставаться здесь дольше.

— Что? что ты сказала, мерзавка? — глаза у Марьи Алексевны налились кровью.

— Пойдите. Делайте потом со мною, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему. — Маменька, — это уж было сказано вслух: — у меня очень разболелась голова: Я не могу сидеть здесь. Прошу вас!

Верочка встала.

Кавалеры засуетились.

— Это пройдет, Верочка, — строго, но чинно сказала Марья Алексевна; — походи по коридору с Михайлом Иванычем, и пройдет голова.

— Нет, не пройдет: я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька.

Кавалеры отворили дверь, хотели вести Верочку под руки, — отказалась, мерзкая девчонка! Сами подали салопы, сами пошли сажать в карету. Марья Алексевна гордо посматривала на лакеев: «Глядите, хамы, каковы кавалеры, — а вот этот моим зятем будет! Сама таких хамов заведу. А ты у меня ломайся, ломайся, мерзавка — я те поломаю!» — Но стой, стой, — что-то говорит зятек ее скверной девчонке, сажая мерзкую гордячку в карету? Sante — это, кажется, здоровье, savoir — узнаю, visite и по-нашему то же, permettez — прошу позволения. Не уменьшилась злоба Марьи Алексевны от этих слов, но надо принять их в соображение. Карета двинулась.

— Что он тебе сказал, когда сажал?

— Он сказал, что завтра поутру зайдет узнать о моем здоровье.

— Не врешь, что завтра?

Верочка молчала.

— Счастлив твой бог! — однако не утерпела Марья Алексевна, рванула дочь за волосы, — только раз, и то слегка. — Ну, пальцем не трону, только завтра чтоб была весела! Ночь спи, дура! Не вздумай плакать. Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы! Спускала до сих пор... не спущу. Не пожалею смазливой-то рожи, уж заодно пропадать будет, так хоть дам себя знать.

— Я уж давно перестала плакать, вы знаете.

— То-то же, да будь с ним поразговорчивее.

— Да, я завтра буду с ним говорить.

— То-то, пора за ум взяться. Побойся бога да пожалей мать, страмница!

Прошло минут десять.

— Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу. Ты не знаешь, каковы дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила! Верочка, отблагодари, будь послушна, сама увидишь, что к твоей пользе. Веди себя, как я учу, — завтра же предложение сделает!

— Маменька, вы ошибаетесь. Он вовсе не думает делать предложения. Маменька! что они говорили!

— Знаю: коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. Мы его в бараний рог согнем. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг наложу обведу, да еще рад будет. Ну, да нечего с тобой много говорить, и так лишнее наговорила: девушкам не следует этого знать, это материно дело. А девушка должна слушаться, она еще ничего не понимает. Так будешь с ним говорить, как я тебе велю?

— Да, буду с ним говорить.

— А вы, Павел Константиныч, что сидите, как пень? Скажите и вы от себя, что и вы как отец ей приказываете слушаться матери, что мать не станет учить ее дурному.

— Марья Алексевна, ты умная женщина, только дело-то опасное: не слишком ли круто хочешь вести!

— Дурак! вот брякнул, — при Верочке-то! Не рада, что и расшевелила! правду пословица говорит: не тронь дерма, не воняет! Эко бухнул! Ты не рассуждай, а скажи: должна дочь слушаться матери?

— Конечно, должна; что говорить, Марья Алексевна!

— Ну, так и приказывай как отец.

— Верочка, слушайся во всем матери. Твоя мать умная женщина, опытная женщина. Она не станет тебя учить дурному. Я тебе как отец приказываю.

Карета остановилась у ворот.

— Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним. Я очень устала. Мне надобно отдохнуть.

— Ложись, спи. Не потревожу. Это нужно к завтраму. Хорошенько выспись.

Действительно, все время, как они всходили по лестнице, Марья Алексевна молчала, — а чего ей это стоило! и опять, чего ей стоило, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавши, что не хочет пить чаю, чего стоило Марье Алексевне ласковым голосом сказать:

— Верочка, подойди ко мне. — Дочь подошла. — Хочу тебя благословить на сон грядущий, Верочка. Нагни головку! — Дочь нагнулась. — Бог тебя благословит, Верочка, как я тебя благословляю.

Она три раза благословила дочь и подала ей поцеловать свою руку.

— Нет, маменька. Я уж давно сказала вам, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня. Я, в самом деле, чувствую себя дурно.

Ах, как было опять вспыхнули глаза Марьи Алексевны. Но пересилила себя и кротко сказала:

— Ступай, отдохни.

Едва Верочка разделась и убрала платье, — впрочем, на это ушло много времени, потому что она все задумывалась: сняла браслет и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу — и опять забылась, и много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно устала, что ведь она даже не могла стоять перед зеркалом, а опустилась в изнеможении на стул, как добрела до своей комнаты, что надобно же поскорее раздеться и лечь, — едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексевна с подносом, на котором была большая отцовская чашка и лежала целая груда сухарей.

— Кушай, Верочка! Вот, кушай на здоровье! Сама тебе принесла: видишь, мать помнит о тебе! Сижу, да и думаю: как же это Верочка легла спать без чаю? сама пью, а сама все думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая!

Странен показался Верочке голос матери: он в самом деле был мягок и добр, — этого никогда не бывало. Она с недоумением посмотрела на мать. Щеки Марьи Алексевны пылали, и глаза несколько блуждали.

— Кушай, я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, принесу другую чашку.

Чай, наполовину налитый густыми, вкусными сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локоть и стала пить. — «Как вкусен чай, когда он свежий, густой и когда в нем много сахара и сливок! Чрезвычайно вкусен! Вовсе не похож на тот спитой, с одним кусочком сахара, который даже противен. Когда у меня будут свои деньги, я всегда буду пить такой чай, как этот».

— Благодарю вас, маменька.

— Не спи, принесу другую. — Она вернулась с другою чашкою такого же прекрасного чаю. — Кушай, а я опять посижу.

С минуту она молчала, потом вдруг заговорила как-то особенно, то самую быстрою скороговоркою, то растягивая слова.

— Вот, Верочка, ты меня поблагодарила. Давно я не слышала от тебя благодарности. Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только нельзя не быть злой! А слаба я стала, Верочка! от трех пуншей ослабела, а какие еще мои лета! Да и ты меня расстроила, Верочка, — очень

огорчила! Я и ослабела. А тяжелая моя жизнь, Верочка. Я не хочу, чтобы ты так жила. Богато живи. Я сколько мученья приняла, Верочка, и-и-и, и-и-и, сколько! Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили, когда он еще не был управляющим! Бедно, и-и-и, как бедно жили, — а я тогда была честная, Верочка! Теперь я не честная, — нет, не возьму греха на душу, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная! Где уж, — то время давно прошло. Ты, Верочка, ученая, а я неученая, да я знаю все, что у вас в книгах написано; там и то написано, что не надо так делать, как со мною сделали. «Ты, говорят, нечестная!» Вот и отец твой, — тебе-то он отец, это Наденьке не он был отец, — голый дурак, а тоже колет мне глаза, надругается! Ну, меня и взяла злость: а когда, говорю, по-вашему я не честная, так я и буду такая! Наденька родилась. Ну, так что ж, что родилась? Меня этому кто научил? Кто должность-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А они у меня ее отняли, в воспитательный дом отдали, — и узнать-то было нельзя, где она — так и не видала ее и не знаю, жива ли она... чать, уж где быть в живых! Ну, в теперешнюю пору мне бы мало горя, а тогда не так легко было, — меня пуще злость взяла! Ну, стала злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? — я доставила. А в управляющие кто его произвел? — я произвела. Вот и стали жить хорошо. А почему? — потому, что я стала нечестная да злая. Это, я знаю, у вас в книгах писано, Верочка, что только нечестным да злым и хорошо жить на свете. А это правда, Верочка! Вот теперь и у отца твоего деньги есть, — я предоставила; и у меня есть, может и побольше, чем у него, — все сама достала, на старость кусок хлеба приготовила. И отец твой, дурак, меня уважать стал, по струнке стал у меня ходить, я его вышколила! А то гнал меня, надругался надо мною. А за что? Тогда было не за что, — а за то, Верочка, что не была злая. А у вас в книгах, Верочка, написано, что не годится так жить, — а ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести, а по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велят, — так что ж они по новому-то порядку не заводят? Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? — знаю: хорошие. Только мы с тобой до них не доживем, больно глуп народ — где с таким народом хорошие-то порядки завести! Так станем жить по старым. И ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в книгах написано: старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать. А это правда, Верочка. Значит, когда нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обманывай; по любви тебе говор — хрр...

Марья Алексевна захрапела и повалилась.

II

Марья Алексевна знала, что говорилось в театре, но еще не знала, что выходило из этого разговора.

В то время как она, расстроенная огорчением от дочери и в расстройстве налившая много рому в свой пунш, уже давно храпела, Михаил Иванович Сторешников ужинал в каком-то моднейшем ресторане с другими кавалерами, приходившими в ложу. В компании было еще четвертое лицо, — француженка, приехавшая с офицером. Ужин приближался к концу

— Мсье Сторешн#769;к! — Сторешников возликовал: француженка обращалась к нему в третий раз во время ужина: — мсье Сторешн#769;к! вы позвольте мне так называть вас, это приятнее звучит и легче выговаривается, — я не думала, что я буду одна дама в вашем обществе; я надеялась увидеть здесь Адель, — это было бы приятно, я ее так редко ежу.

— Адель поссорилась со мною, к несчастью.

Офицер хотел сказать что-то, но промолчал.

— Не верьте ему, m-lle Жюли, — сказал статский, — он боится открыть вам истину, думает, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он бросил француженку для русской.

— Я не знаю, зачем и мы-то сюда поехали! — сказал офицер.

— Нет, Серж, отчего же, когда Жан просил! и мне было очень приятно познакомиться с

мсье Сторешником. Но, мсье Сторешн#769;к, фи, какой у вас дурной вкус! Я бы ничего не имела возразить, если бы вы покинули Адель для этой грузинки, в ложе которой были с ними обоими; но променять француженку на русскую... воображаю! бесцветные глаза, бесцветные жиденькие волосы, бессмысленное, бесцветное лицо... виновата, не бесцветное, а, как вы говорите, кровь со сливками, то есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы! Жан, подайте пепельницу грешнику против граций, пусть он посыплет пеплом свою преступную голову!

— Ты наговорила столько вздора, Жюли, что не ему, а тебе надобно посыпать пеплом голову, — сказал офицер: — ведь та, которую ты назвала грузинкою, — это она и есть русская-то.

— Ты смеешься надо мною?

— Чистейшая русская, — сказал офицер.

— Невозможно!

— Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей. Да и у вас много блондинок. А мы, Жюли, смесь племен, от беловолосых, как финны («Да, да, финны», заметила для себя француженка), до черных, гораздо чернее итальянцев, — это татары, монголы («Да, монголы, знаю», заметила для себя француженка), — они все дали много своей крови в нашу! У нас блондинки, которых ты ненавидишь, только один из местных типов, — самый распространенный, но не господствующий.

— Это удивительно! но она великолепна! Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, что я видела. Остается вопрос, очень важный: ее нога? Ваш великий поэт Карасен, говорили мне, сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног.

— Жюли, это сказал не Карасен, — и лучше зови его: Карамзин, — Карамзин был историк, да и то не русский, а татарский, — вот тебе новое доказательство разнообразия наших типов. О ножках сказал Пушкин, — его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены. Кстати, эскимосы живут в Америке, а наши дикари, которые пьют оленью кровь, называются самоеды.

— Благодарю, Серж. Карамзин — историк; Пушкин — знаю; эскимосы в Америке; русские — самоеды; да, самоеды, — но это звучит очень мило са-мо-е-ды! Теперь буду помнить. Я, господа, велю Сержу все это говорить мне, когда мы одни, или не в нашем обществе. Это очень полезно для разговора. Притом науки — моя страсть; я родилась быть m-me Сталь, господа. Но это посторонний эпизод. Возвращаемся к вопросу: ее нога?

— Если вы позволите мне завтра явиться к вам, m-lle Жюли, я буду иметь честь привезти к вам ее башмак.

— Привозите, я примерю. Это затрогивает мое любопытство.

Сторешников был в восторге: как же? — он едва цеплялся за хвост Жана, Жан едва цеплялся за хвост Сержа, Жюли — одна из первых француженок между француженками общества Сержа, — честь, великая честь!

— Нога удовлетворительна, — подтвердил Жан: — но я как человек положительный интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст.

— Бюст очень хорош, — сказал Сторешников, ободрившийся выгодными отзывами о предмете его вкуса, и уже замысливший, что может говорить комплименты Жюли, чего до сих пор не смел: — ее бюст очарователен, хотя, конечно, хвалить бюст другой женщины здесь — святотатство.

— Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! Я не ипокритка и не обманщица, мсье Сторешн#769;к: я не хваюсь и не терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Слава богу, у меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст — ха, ха, ха! Жан, вы видели мой бюст — скажите ему! Вы молчите, Жан? Вашу руку, мсье Сторешн#769;к, — она схватила его за руку, — чувствуете, что это не тело? Попробуйте еще здесь, — и здесь, — теперь знаете? Я ношу накладной бюст, как

ношу платье, юбку, рубашку не потому, чтоб это мне нравилось, — по-моему, было бы лучше без этих ипокритств, — а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я, — и как жила, мсье Сторешник! я теперь святая, схимница перед тем, что была, — такая женщина не может сохранить бюста! — И вдруг она заплакала: — мой бюст! мой бюст! моя чистота! о, боже, затем ли я родилась?

— Вы лжете, господа, — закричала она, вскочила и ударила кулаком по столу: — вы клеветаете! Вы низкие люди! она не любовница его! он хочет купить ее! Я видела, как она отворачивалась от него, горела негодованьем и ненавистью. Это гнусно!

— Да, — сказал статский, лениво потягиваясь: — ты прихвастнул, Сторешников; у вас дело еще не кончено, а ты уж наговорил, что живешь с нею, даже разошелся с Аделью для лучшего заверения нас. Да, ты описывал нам очень хорошо, но описывал то, чего еще не видал; впрочем, это ничего; не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня, — это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, которые делал по воображению; найдешь даже лучше, чем думаешь. Я рассматривал: останешься доволен.

Сторешников был вне себя от ярости:

— Нет, m-lle Жюли, вы обманулись, смею вас уверить, в вашем заключении; простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она — моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора от ревности; она видела, что я первый акт сидел в ложе m-lle Матильды, — только и всего!

— Врешь, мой милый, врешь, — сказал Жан и зевнул.

— А не вру, не вру.

— Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю.

— Какие же доказательства я могу тебе представить?

— Ну, вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь. M-lle Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я привезу свою миленькую Бертю, ты привезешь ее. Если привезешь — я проиграл, ужин на мой счет; не привезешь — изгоняешься со стыдом из нашего круга! — Жан дернул сонетку; вошел слуга. — Simon, будьте так добры: завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я венчался у вас с Бертою, — помните, пред рождеством? — и в той же комнате.

— Как не помнить такого ужина, мсье! Будет исполнено.

Слуга вышел.

— Гнусные люди! гадкие люди! я была два года уличною женщиной в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор, мне, о, боже? — Она упала на колени. — Боже! я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой! Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить, — боже! ведь это не грех, — за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я недостойна ничего другого, но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей! — Она вскочила и подбежала к офицеру: — Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их! («Лучше», флегматически заметил офицер.) Разве это не гнусно?

— Гнусно, Жюли.

— И ты молчишь? допускаешь? соглашаешься? участвуешь?

— Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. — Он стал ласкать ее, она успокоилась. — Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Ну, что ты не соглашаешься повенчаться со мною? сколько раз я просил тебя об этом! Согласись.

— Брак? ярмо? предрассудок? Никогда! я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не сердь меня. Но... Серж, милый Серж! запрети ему! он тебя боится, — спаси ее!

— Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри, Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не

убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы, русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.

— Никогда! Ты раб, француженка свободна. Француженка борется, — она падает, но она борется! Я не допущу! Кто она? Где она живет? Ты знаешь?

— Знаю.

— Едем к ней. Я предупрежу ее.

— В первом-то часу ночи? Поедем-ка лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мнения. До свиданья.

— Экая бешеная француженка, — сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. — Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдою вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берте и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила.

III

— Ну, Вера, хорошо. Глаза не заплаканы. Видно, поняла, что мать говорит правду, а то все на дыбы подымалась, — Верочка сделала нетерпеливое движение, — ну, хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате, может, наговорила чего лишнего. Я вчера не в своем виде была. Ты не верь тому, что я с пьяных-то глаз наговорила, — слышишь? не верь.

Верочка опять видела прежнюю Марью Алексевну. Вчера ей казалось, что из-под зверской оболочки проглядывают человеческие черты, теперь опять зверь, и только. Верочка усиливалась победить в себе отвращение, но не могла. Прежде она только ненавидела мать, вчера думалось ей, что она перестает ее ненавидеть, будет только жалеть, — теперь опять она чувствовала ненависть, но и жалость осталась в ней.

— Одевайся, Верочка! чать, скоро придет. — Она очень заботливо осмотрела наряд дочери. — Если ловко поведешь себя, подарю серьги с большими-то изумрудами, — они старого фасона, но если переделать, выйдет хорошая брошка. В залоге остались за 150 р., с процентами 250, а стоят больше 400. Слышишь, подарю.

Явился Сторешников. Он вчера долго не знал, как ему справиться с задачей, которую накликал на себя; он шел пешком из ресторана домой и все думал. Но пришел домой уже спокойный — придумал, пока шел, — и теперь был доволен собой.

Он справился о здоровье Веры Павловны — «я здорова»; он сказал, что очень рад, и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться, — «конечно, надобно», а по мнению Марьи Алексевны, «и молодостью также»; он совершенно с этим согласен, и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город: день морозный, дорога чудесная. — С кем же он думает ехать? «Только втроем: вы, Марья Алексевна, Вера Павловна и я». В таком случае Марья Алексевна совершенно согласна; но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка сплет что-нибудь. «Верочка, ты споешь что-нибудь?» прибавляет она тоном, не допускающим возражений. — «Спою».

Верочка села к фортепьяно и запела «Тройку» — тогда эта песня была только что положена на музыку, — по мнению, питаемому Марьей Алексевною за дверью, эта песня очень хороша: девушка засмотрелась на офицера, — Верка-то, когда захочет, ведь умная, шельма! — Скоро Верочка остановилась: и это все так;

Марья Алексевна так и велела: немножко пропой, а потом заговори. — Вот, Верочка и говорит, только, к досаде Марьи Алексевны, по-французски, — «экая дура я какая, забыла сказать, чтобы по-русски»; — но Вера говорит тихо... улыбнулась, — ну, значит, ничего,

хорошо. Только что ж он-то выпучил глаза? впрочем, дурак, так дурак и есть, он только и умеет хлопать глазами. А нам таких-то и надо. Вот, подала ему руку — умна стала Верка, хвалю.

— Мсье Сторешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелям, как вашу любовницу. Я не буду говорить вам, что это бесчестно: если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так. Но я предупреждаю вас: если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, — я даю вам пощечину. Мать замучит меня (вот тут-то Верочка улыбнулась), но пусть будет со мною, что будет, все равно! Нынче вечером вы получите от моей матери записку, что катанье наше расстроилось, потому что я больна.

Он стоял и хлопал глазами, как уже и заметила Марья Алексевна.

— Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, вы еще не до конца испорчены. Если так, я прошу вас: перестаньте бывать у нас. Тогда я прошу вам вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку, — она протянула ему руку: он взял ее, сам не понимая, что делает.

— Благодарю вас. Уйдите же. Скажите, что вам надобно торопиться приготовить лошадей для поездки.

Он опять похлопал глазами. Она уже обернулась к нотам и продолжала «Тройку». Жаль, что не было знатоков: любопытно было послушать: верно, не часто им случалось слушать пение с таким чувством; даже уж слишком много было чувства, не артистично.

Через минуту Марья Алексевна вошла, и кухарка втащила поднос с кофе и закускою. Михаил Иваныч, вместо того чтобы сесть за кофе, пятился к дверям.

— Куда же вы, Михаил Иваныч?

— Я тороплюсь, Марья Алексевна, распорядиться лошадьми.

— Да еще успеете, Михаил Иваныч. — Но Михаил Иваныч был уже за дверями.

Марья Алексевна бросилась из передней в зал с поднятыми кулаками.

— Что ты сделала, Верка проклятая? А? — но проклятой Верки уже не было в зале; мать бросилась к ней в комнату, но дверь Верочкиной комнаты была заперта: мать надвинула всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не подавалась, а проклятая Верка сказала:

— Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь. А вам не дамся в руки живая.

Марья Алексевна долго бесновалась, но двери не ломала; наконец устала кричать. Тогда Верочка сказала:

— Маменька, прежде я только не любила вас; а со вчерашнего вечера мне стало вас и жалко. У вас было много горя, и оттого вы стали такая. Я прежде не говорила с вами, а теперь хочу говорить, только когда вы не будете сердиться. Поговорим тогда хорошенько, как прежде не говорили.

Конечно, не очень-то приняла к сердцу эти слова Марья Алексевна; но утомленные нервы просят отдыха, и у Марьи Алексевны стало рождаться раздумье: не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, когда она, мерзавка, уж совсем отбивается от рук? Ведь без нее ничего нельзя сделать, ведь не женишь же без ней на ней Мишку дурака! Да ведь еще и неизвестно, что она ему сказала, — ведь они руки пожали друг другу, — что ж это значит?

Так и сидела усталая Марья Алексевна, раздумывая между свирепством и хитростью, когда раздался звонок. Это были Жюли с Сержем.

IV

— Серж, говорит по-французски ее мать? — было первое слово Жюли, когда она проснулась.

— Не знаю; а ты еще не выкинула из головы этой мысли?

Нет, не выкинула. И когда, сообразивши все приметы в театре, решили, что, должно

быть, мать этой девушки не говорит по-французски, Жюли взяла с собою Сержа переводчиком. Впрочем, уж такая была его судьба, что пришлось бы ему ехать, хотя бы матерью Верочки был кардинал Меццофанти; и он не роптал на судьбу, а ездил повсюду, при Жюли, вроде наперсницы корнелевской героини. Жюли проснулась поздно, по дороге заезжала к Вихман, потом, уж не по дороге, а по надобности, еще в четыре магазина. Таким образом Михаил Иваныч успел объясниться, Марья Алексевна успела набеситься и насидеться, пока Жюли и Серж доехали с Литейной на Гороховую.

— А под каким же предлогом мы приехали? фи, какая гадкая лестница! Таких я и в Париже не знала.

— Все равно, что вздумается. Мать дает деньги в залог, сними брошку. Или вот, еще лучше: она дает уроки на фортепьяно. Скажем, что у тебя есть племянница.

Матрена в первый раз в жизни устыдилась своей разбитой скулы, узрев мундир Сержа и в особенности великолепие Жюли: такой важной дамы она еще никогда не видывала лицом к лицу. В такое же благоговение и неописанное изумление пришла Марья Алексевна, когда Матрена объявила, что изволили пожаловать полковник NN с супругой. Особенно это: «с супругой!» — Тот круг, сплетни о котором спускались до Марьи Алексевны, возвышался лишь до действительно статского слоя общества, а сплетни об настоящих аристократах уже замирали в пространстве на половине пути до Марьи Алексевны; потому она так и поняла в полном законном смысле имена «муж и жена», которые давали друг другу Серж и Жюли по парижскому обычаю. Марья Алексевна оправилась наскоро и выбежала.

Серж сказал, что очень рад вчерашнему случаю и проч., что у его жены есть племянница и проч., что его жена не говорит по-русски и потому он переводчик.

— Да, могу благодарить моего создателя, — сказала Марья Алексевна: — у Верочки большой талант учить на фортепьянах, и я за счастье почту, что она вхожа будет в такой дом; только учительница-то моя не совсем здорова, — Марья Алексевна говорила особенно громко, чтобы Верочка услышала и поняла появление перемирия, а сама, при всем благоговении, так и впиалась глазами в гостей: — не знаю, в силах ли будет выйти и показать вам пробу свою на фортепьянах. — Верочка, друг мой, можешь ты выйти, или нет?

Какие-то посторонние люди, — сцены не будет, — почему ж не выйти? Верочка отперла дверь, взглянула на Сержа и вспыхнула от стыда и гнева.

Этого не могли бы не заметить и плохие глаза, а у Жюли были глаза чуть ли не позорче, чем у самой Марьи Алексевны. Француженка начала прямо:

— Милое дитя мое, вы удивляетесь и смущаетесь, видя человека, при котором были вчера так оскорбляемы, который, вероятно, и сам участвовал в оскорблениях. Мой муж легкомыслен, но он все-таки лучше других повес. Вы его извините для меня, я приехала к вам с добрыми намерениями. Уроки моей племяннице — только предлог; но надобно поддержать его. Вы сыграете что-нибудь, — покороче, — мы пойдем в вашу комнату и переговорим. Слушайте меня, дитя мое.

Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает штуки, заставляющие краснеть иных повес? Нет, это княгиня, до ушей которой никогда не доносилось ни одно грубоватое слово.

Верочка села делать свою пробу на фортепьяно. Жюли стала подле нее, Серж занимался разговором с Марьей Алексевною, чтобы выведать, каковы именно ее дела с Сторешниковым. Через несколько минут Жюли остановила Верочку, взяла ее за талью, прошла с нею по залу, потом увела ее в ее комнату. Серж пояснил, что его жена довольна игрою Верочки, но хочет потолковать с нею, потому что нужно знать и характер учительницы и т. д., и продолжал наводить разговор на Сторешникова. Все это было прекрасно, но Марья Алексевна смотрела все зорче и подозрительнее.

— Милое дитя мое, — сказала Жюли, вошедши в комнату Верочки: — ваша мать очень дурная женщина. Но чтобы мне знать, как говорить с вами, прошу вас, расскажите, как и зачем вы были вчера в театре? Я уже знаю все это от мужа, но из вашего рассказа я узнаю ваш характер. Не опасайтесь меня. — Выслушавши Верочку, она сказала: — Да, с вами

можно говорить, вы имеете характер, — и в самых осторожных, деликатных выражениях рассказала ей о вчерашнем пари; на это Верочка отвечала рассказом о предложении кататься.

— Что ж, он хотел обмануть вашу мать, или они оба были в заговоре против вас? — Верочка горячо стала говорить, что ее мать уж не такая же дурная женщина, чтобы быть в заговоре. — Я сейчас это увижу, — сказала Жюли. — Вы оставайтесь здесь, — вы там лишняя. — Жюли вернулась в залу.

— Серж, он уже звал эту женщину и ее дочь кататься нынче вечером. Расскажи ей о вчерашнем ужине.

— Ваша дочь нравится моей жене, теперь надобно только условиться в цене и, вероятно, мы не разойдемся из-за этого. Но позвольте мне докончить наш разговор о нашем общем знакомом. Вы его очень хвалите. А известно ли вам, что он говорит о своих отношениях к вашему семейству, — например, с какою целью он приглашал нас вчера в вашу ложу?

В глазах Марьи Алексевны, вместо испытывающего взгляда, блеснул смысл: «так и есть».

— Я не сплетница, — отвечала она с неудовольствием: — сама не разношу вестей и мало их слушаю. — Это было сказано не без колкости, при всем ее благоговении к посетителю. — Мало ли что болтают молодые люди между собою; этим нечего заниматься.

— Хорошо-с; ну, а вот это вы назовете сплетнями. — Он стал рассказывать историю ужина. Марья Алексевна не дала ему докончить: как только произнес он первое слово о пари, она вскочила и с бешенством закричала, совершенно забывши важность гостей:

— Так вот они, штуки-то какие! Ах он, разбойник. Ах он, мерзавец. Так вот зачем он кататься-то звал! он хотел меня за городом-то на тот свет отправить, чтобы беззащитную девушку обесчестить! Ах он, сквернавец! — и так далее. Потом она стала благодарить гостя за спасение жизни ее и чести ее дочери. — То-то, батюшка, я уж и сначала догадывалась, что вы что-нибудь неспросту приехали, что уроки-то уроками, а цель у вас другая, да я не то полагала; я думала, у вас ему другая невеста приготовлена, вы его у нас отбить хотите, — погрешила на вас, окаянная, простите великодушно. Вот, можно сказать, по гроб жизни облагодетельствовали, — и т. д. Ругательства, благодарности, извинения долго лились беспорядочным потоком.

Жюли недолго слушала эту бесконечную речь, смысл которой был ясен для нее из тона голоса и жестов; с первых слов Марьи Алексевны француженка встала и вернулась в комнату Верочки.

— Да, ваша мать не была его сообщницею и теперь очень раздражена против него. Но я хорошо знаю таких людей, как ваша мать. У них никакие чувства не удержатся долго против денежных расчетов; она скоро опять примется ловить жениха, и чем это может кончиться, бог знает; во всяком случае, вам будет очень тяжело. На первое время она оставит вас в покое; но я вам говорю, что это будет не надолго. Что вам теперь делать? Есть у вас родные в Петербурге?

— Нет.

— Это жаль. У вас есть любовник? — Верочка не знала, как и отвечать на это, она только странно раскрыла глаза. — Простите, простите, это видно, но тем хуже. Значит, у вас нет приюта. Как же быть? Ну, слушайте. Я не то, чем вам показалась. Я не жена ему, я у него на содержаньи. Я известна всему Петербургу как самая дурная женщина. Но я честная женщина. Прийти ко мне — для вас значит потерять репутацию; довольно опасно для вас и то, что я уже один раз была в этой квартире, а приехать к вам во второй раз было бы, наверное, губить вас. Между тем надобно увидиться еще с вами, быть может, и не раз, — то есть, если вы доверяете мне, Да? — Так когда вы завтра можете располагать собою?

— Часов в двенадцать, — сказала Верочка. Это для Жюли немного рано, но все равно, она велит разбудить себя и встретится с Верочкою в той линии Гостиного двора, которая противоположна Невскому; она короче всех, там легко найти друг друга, и там никто не знает Жюли.

— Да, вот еще счастливая мысль: дайте мне бумаги, я напишу этому негодяю письмо, чтобы взять его в руки. — Жюли написала: «Мсье Сторешников, вы теперь, вероятно, в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. М. Леллье». — Теперь прощайте!

Жюли протянула руку, но Верочка бросилась к ней на шею, и целовала, и плакала, и опять целовала. А Жюли и подавно не выдержала, — ведь она не была так воздержана на слезы, как Верочка, да и очень ей трогательна была радость и гордость, что она делает благородное дело; она пришла в экстаз, говорила, говорила, все со слезами и поцелуями, и заключила восклицанием:

— Друг мой, милое мое дитя! о, не дай тебе бог никогда узнать, что чувствую я теперь, когда после многих лет в первый раз прикасаются к моим губам чистые губы. Умри, но не давай поцелуя без любви!

V

План Сторешникова был не так человекоубийствен, как предположила Марья Алексевна: она, по своей манере, дала делу слишком грубую форму, но сущность дела отгадала, Сторешников думал попозже вечером завезти своих дам в ресторан, где собирался ужин; разумеется, они все замерзли и проголодались, надобно погреться и выпить чаю; он всыплет опиуму в чашку или рюмку Марье Алексевне; Верочка растеряется, увидев мать без чувств; он заведет Верочку в комнату, где ужин, — вот уже пари и выиграно; что дальше — как случится. Может быть, Верочка в своем смятении ничего не поймет и согласится посидеть в незнакомой компании, а если и сейчас уйдет, — ничего, это извинят, потому что она только вступила на поприще авантюристки и, натурально, совестится на первых порах. Потом он уладится деньгами с Марьей Алексевною, — ведь ей уж нечего будет делать.

Но теперь как ему быть? он проклинал свою хвастливость перед приятелями, свою ненаходчивость при внезапном крутом сопротивлении Верочки, желал себе провалиться сквозь землю. И в этакое-то расстройстве и сокрушении духа — письмо от Жюли, целительный бальзам на рану, луч спасения в непроглядном мраке, столбовая дорога под ногою тонувшего в бездонном болоте. О, она поможет, она умнейшая женщина, она может все придумать! благороднейшая женщина! — Минут за десять до 7 часов, он был уже перед ее дверью, — «Извольте ждать и приказали принять».

Как величественно сидит она, как строго смотрит! едва наклонила голову в ответ на его поклон. «Очень рада вас видеть, прошу садиться». — Ни один мускул не пошевелился в ее лице. Будет сильная головомойка, — ничего, ругай, только спаси.

— Мсье Сторешник, — начала она холодным, медленным тоном: — вам известно мое мнение о деле, по которому мы видимся теперь и которое, стало быть, мне не нужно вновь характеризовать. Я видела ту молодую особу, о которой был вчера разговор, слышала о вашем нынешнем визите к ним, следовательно, знаю все, и очень рада, что это избавляет меня от тяжелой необходимости расспрашивать вас о чем-либо. Ваше положение с одинаковою определенностью ясно и мне и вам («господи, лучше бы ругалась!» думает подсудимый). Мне кажется, что вы не можете выйти из него без посторонней помощи, и не можете ждать успешной помощи ни от кого, кроме меня. Если вы имеете возразить что-нибудь, я жду. — Итак (после паузы), вы подобно мне полагаете, что никто другой не в состоянии помочь вам, — выслушайте же, что я могу и хочу сделать для вас; если предлагаемое мною пособие покажется вам достаточно, я выскажу условия, на которых согласна оказать его.

И тем же длинным, длинным манером официального изложения она сказала, что может послать Жану письмо, в котором скажет, что после вчерашней вспышки передумала, хочет участвовать в ужине, но что нынешний вечер у нее уже занят, что поэтому она просит Жана уговорить Сторешникова отложить ужин — о времени его она после условится с Жаном. Она прочла это письмо, — в письме слышалась уверенность, что Сторешников выигрывает

пари, что ему досадно будет отсрочивать свое торжество. Достаточно ли будет этого письма? — конечно. В таком случае, — продолжает Жюли все тем же длинным, длинным тоном официальных записок, — она отправит письмо на двух условиях — «вы можете принять или не принять их, — вы принимаете их, — я отправляю письмо; вы отвергаете их, — я жгу письмо», и т. д., все в этой же бесконечной манере, вытягивающей душу из спасаемого. Наконец и условия. Их два: — «Первое: вы прекращаете всякие преследования молодой особы, о которой мы говорим; второе: вы перестаете упоминать ее имя в ваших разговорах». — «Только-то — думает спасаемый: — я думал, уж она черт знает чего потребует, и уж черт знает на что ни был бы готов». Он согласен, и на его лице восторг от легкости условий, но Жюли не смягчается ничем, и все тянет, и все объясняет... «первое — нужно для нее, второе — также для нее, но еще более для вас: я отложу ужин на неделю, потом еще на неделю, и дело забудется; но вы поймете, что другие забудут его только в том случае, когда вы не будете напоминать о нем каким бы то ни было словом о молодой особе, о которой» и т. д. И все объясняется, все доказывается, даже то, что письмо будет получено Жаном еще во-время. — «Я справлялась, он обедает у Берты» и т. д., — «он поедет к вам, когда докурит свою сигару» и т. д., и все в таком роде и, например, в таком: «Итак, письмо отправляется, я очень рада. Потрудитесь перечесть его, — я не имею и не требую доверия. Вы прочли, — потрудитесь сам запечатать его, — вот конверт. — Я звоню. — Полина, вы потрудитесь передать это письмо», и т. д. — «Полина, я не виделась нынче с мсье Сторешником, он не был здесь, — вы понимаете?» — Около часа тянулось это мучительное спасение. Наконец, письмо отправлено, и спасенный дышит свободнее, но пот льет с него градом, и Жюли продолжает:

— Через четверть часа вы должны будете спешить домой, чтобы Жан застал вас. Но четвертью часа вы еще можете располагать, и я воспользуюсь ею, чтобы сказать вам несколько слов; вы последуете или не последуете совету, в них заключающемуся, но вы зрело обдумаете его. Я не буду говорить об обязанностях честного человека относительно девушки, имя которой он компрометировал: я слишком хорошо знаю нашу светскую молодежь, чтобы ждать пользы от рассмотрения этой стороны вопроса. Но я нахожу, что женитьба на молодой особе, о которой мы говорим, была бы выгодна для вас. Как женщина прямая, я изложу вам основания такого моего мнения с полной ясностью, хотя некоторые из них и щекотливы для вашего слуха, — впрочем, малейшего вашего слова будет достаточно, чтобы я остановилась. Вы человек слабого характера и рискуете попасться в руки дурной женщины, которая будет мучить вас и играть вами. Она добра и благородна, потому не стала бы обижать вас. Женитьба на ней несмотря на низкость ее происхождения и, сравнительно с вами, бедность, очень много двинула бы вперед вашу карьеру: она, будучи введена в большой свет, при ваших денежных средствах, при своей красоте, уме и силе характера, заняла бы в нем блестящее место; выгоды от этого для всякого мужа понятны. Но, кроме тех выгод, которых получил бы всякий другой муж от такой жены, вы, по особенностям вашей натуры, более, чем кто-либо, нуждаетесь в содействии, — скажу прямее: в руководстве. Каждое мое слово было взвешено; каждое — основано на наблюдении над нею. Я не требую доверия, но рекомендую вам обдумать мой совет. Я сильно сомневаюсь, чтобы она приняла вашу руку; но если бы она приняла ее, это было бы очень выгодно для вас. Я не удерживаю вас более, вам надобно спешить домой.

VI

Марья Алексевна, конечно, уже не претендовала на отказ Верочки от катанья, когда увидела, что Мишка-дурак вовсе не такой дурак, а чуть было даже не поддел ее. Верочка была оставлена в покое и на другое утро без всякой помехи отправилась в Гостинный двор.

— Здесь морозно, я не люблю холода, — сказала Жюли: — надобно куда-нибудь отправиться. Куда бы? погодите, я сейчас вернусь из этого магазина. — Она купила густой вуаль для Верочки. — Наденьте, тогда можете ехать ко мне безопасно. Только не подымайте

вуаля, пока мы не останемся одни. Полина очень скромна, но я не хочу, чтоб и она вас видела. Я слишком берегу вас, дитя мое! — Действительно, она сама была в салопе и шляпе своей горничной и под густым вуалем. Когда Жюли отогрелась, выслушала все, что имела нового Верочка, она рассказала про свое свиданье с Сторешниковым.

— Теперь, милое дитя мое, нет никакого сомнения, что он сделает вам предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда их волокитство отвергается. Знаете ли вы, дитя мое, что вы поступили с ним, как опытная кокетка? Кокетство, — я говорю про настоящее кокетство, а не про глупые, бездарные подделки под него: они отвратительны, как всякая плохая подделка под хорошую вещь, — кокетство — это ум и такт в применении к делам женщины с мужчиною. Потому совершенно наивные девушки без намерения действуют как опытные кокетки, если имеют ум и такт. Может быть, и мои доводы отчасти подействуют на него, но главное — ваша твердость. — Как бы то ни было, он сделает вам предложение, я советую вам принять его.

— Вы, которая вчера сказали мне: лучше умереть, чем дать поцелуй без любви?

— Милое дитя мое, это было сказано в увлечении; в минуты увлечения оно верно и хорошо! Но жизнь — проза и расчет.

— Нет, никогда, никогда! Он гадок, это отвратительно! Я не увижусь, пусть меня съедят, я брошусь из окна, я пойду собирать милостыню... но отдать руку гадкому, низкому человеку — нет, лучше умереть.

Жюли стала объяснять выгоды: вы избавитесь от преследований матери, вам грозит опасность быть проданной, он не зол, а только недалек, недалекий и незлой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером, вы будете госпожею в доме. Она в ярких красках описывала положение актрис, танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними: «это самое лучшее положение в свете для женщины, кроме того положения, когда к такой же независимости и власти еще присоединяется со стороны общества формальное признание законности такого положения, то есть, когда муж относится к жене как поклонник актрисы к актрисе». Она говорила много, Верочка говорила много, обе разгорячились, Верочка, наконец, дошла до пафоса.

— Вы называете меня фантазеркою, спрашиваете, чего же я хочу от жизни? Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться, я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, когда мне самой этого не нужно. Я не привыкла к богатству — мне самой оно не нужно, — зачем же я стану искать его только потому, что другие думают, что оно всякому приятно и, стало быть, должно быть приятно мне? Я не была в обществе, не испытывала, что значит блистать, и у меня еще нет влечения к этому, — зачем же я стану жертвовать чем-нибудь для блестящего положения только потому, что, по мнению других, оно приятно? Для того, что не нужно мне самой, — я не пожертвую ничем, — не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова; чего мне не нужно, того не хочу и не хочу. Что нужно мне будет, я не знаю; вы говорите: я молода, неопытна, со временем переменюсь, — ну, что ж, когда переменюсь, тогда и переменюсь, а теперь не хочу, не хочу, не хочу ничего, чего не хочу! А чего я хочу теперь, вы спрашиваете? — ну да, я этого не знаю. Хочу ли я любить мужчину? — Я не знаю, — ведь я вчера поутру, когда вставала, не знала, что мне захочется полюбить вас; за несколько часов до того, как полюбила вас, не знала, что полюблю, и не знала, как это я буду чувствовать, когда полюблю вас. Так теперь я не знаю, что я буду чувствовать, если я полюблю мужчину, я знаю только то, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, чтобы никто не смел сказать мне: ты обязана делать для меня что-нибудь! Я хочу делать только то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна.

Жюли слушала и задумывалась, задумывалась и краснела и — ведь она не могла не вспыхивать, когда подле был огонь — вскочила и прерывающимся голосом заговорила:

— Так, дитя мое, так! Я и сама бы так чувствовала, если б не была развращена. Не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мною, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганью, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу — вот это разврат! Не слушай того, что я тебе говорила, дитя мое: я развращала тебя — вот мученье! Я не могу прикасаться к чистому, не оскверняя; беги меня, дитя мое, я гадкая женщина, — не думай о свете! Там все гадкие, хуже меня; где праздность, там гнусность, где роскошь, там гнусность! — беги, беги!

VII

Сторешников чаще и чаще начал думать: а что, как я в самом деле возьму да женюсь на ней? С ним произошел случай, очень обыкновенный в жизни не только людей несамостоятельных в его роде, а даже и людей с независимым характером. Даже в истории народов: этими случаями наполнены томы Юма и Гиббона, Ранке и Тьерри; люди толкаются, толкаются в одну сторону только потому, что не слышат слова: «а попробуйте-ко, братцы, толкнуться в другую», — услышат и начнут поворачиваться направо кругом, и пошли толкаться в другую сторону. Сторешников слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хорошеньких небогатых девушек в любовницы, — ну, он и добивался сделать Верочку своею любовницею: другого слова не приходило ему в голову; услышал он другое слово: «можно жениться», — ну, и стал думать на тему «жена», как прежде думал на тему «любовница».

Это общая черта, по которой Сторешников очень удовлетворительно изображал в своей особе девять десятых долей истории рода человеческого. Но историки и психологи говорят, что в каждом частном факте общая причина «индивидуализируется» (по их выражению) местными, временными, племенными и личными элементами, и будто бы они-то, особенные-то элементы, и важны, — то есть, что все ложки хотя и ложки, но каждый хлебает суп или щи тою ложкою, которая у него, именно вот у него в руке, и что именно вот эту-то ложку надобно рассматривать. Почему не рассмотреть?

Главное уже сказала Жюли (точно читала она русские романы, которые все об этом упоминают!): сопротивление разжигает охоту. Сторешников привык мечтать, как он будет «обладать» Верочкою. Подобно Жюли, я люблю называть грубые вещи прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем и говорим. Сторешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звания любовницы, — ну, пусть осуществляет в звании жены; это все равно, главное дело не звание, а позы, то есть обладание. О, грязь! о, грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки! Иные из вас, — многие — господствуют над нами — это ничего: ведь и многие лакеи властвуют над своими барами.

Мысли о позах разыгрались в Сторешникове после театра с такою силою, как еще никогда. Показавши приятелям любовницу своей фантазии, он увидел, что любовница гораздо лучше, что всякое другое достоинство, большинство людей оценивает с точностью только по общему отзыву. Всякий видит, что красивое лицо красиво, а до какой именно степени оно красиво, как это разберешь, пока ранг не определен дипломом? Верочку в галлерее или в последних рядах кресел, конечно, не замечали; но когда она явилась в ложе 2-го яруса, на нее было наведено очень много биноклей; а сколько похвал ей слышал Сторешников, когда, проводив ее, отправился в фойэ! а Серж? о, это человек с самым тонким вкусом! — а Жюли? — ну, нет, когда наклеивается такое счастье, тут нечего разбирать, под каким званием «обладать» им.

Самолюбие было раздражено вместе с сладострастием. Но оно было затронуто и с

другой стороны: «она едва ли пойдет за вас» — как? не пойдет за него, при таком мундире и доме? нет, врешь, француженка, пойдет! вот пойдет же, пойдет!

Была и еще одна причина в том же роде: мать Сторешникова, конечно, станет противиться женитьбе — мать в этом случае представительница света, — а Сторешников до сих пор трусил матери и, конечно, тяготился своею зависимостью от нее. Для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль: «я не боюсь; у меня есть характер».

Конечно, было и желание подвинуться в своей светской карьере через жену.

А ко всему этому прибавлялось, что ведь Сторешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее.

Словом, Сторешников с каждым днем все тверже думал жениться, и через неделю, когда Марья Алексевна, в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марьею Алексевною. Марья Алексевна, конечно, сказала, что она с своей стороны считает себе за большую честь, но, как любящая мать, должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру.

— Ну, молодец девка моя Вера, — говорила мужу Марья Алексевна, удивленная таким быстрым оборотом дела: — гляди-ко, как она забрала молодца-то в руки! А я думала, думала, не знала, как и ум приложить! думала, много хлопот мне будет опять его заманить, думала, испорчено все дело, а она, моя голубушка, не портила, а к доброму концу вела, — знала, как надо поступать. Ну, хитра, нечего сказать.

— Господь умудряет младенцы, — произнес Павел Константиныч.

Он редко играл роль в домашней жизни. Но Марья Алексевна была строгая хранительница добрых преданий, и в таком парадном случае, как объявление дочери о предложении, она назначила мужу ту почетную роль, какая по праву принадлежит главе семейства и владыке. Павел Константиныч и Марья Алексевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали Матрену просить барышню пожаловать к ним.

— Вера, — начал Павел Константиныч, — Михаил Иваныч делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что с одной стороны рады. Ты как добрая послушная дочь, какою мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что мы не смели от бога молить такого жениха. Согласна, Вера?

— Нет, — сказала Верочка.

— Что ты говоришь, Вера? — закричал Павел Константиныч; дело было так ясно, что и он мог кричать, не осведомившись у жены, как ему поступать.

— С ума ты сошла, дура? Смей повторить, мерзавка-ослушница! — закричала Марья Алексевна, подымаясь с кулаками на дочь.

— Позвольте, маменька, — сказала Вера, вставая: — если вы до меня дотронетесь, я уйду из дому, запрете, — брошусь из окна. Я знала, как вы примете мой отказ, и обдумала, что мне делать. Сядьте и сидите, или я уйду.

Марья Алексевна опять уселась. «Экая глупость сделана, передняя-то дверь не заперта на ключ! задвижку-то в одну секунду отодвинет — не поймашь, уйдет! ведь бешеная!»

— Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать.

— Вера, ты с ума сошла, — говорила Марья Алексевна задыхающимся голосом.

— Как же это можно? Что же мы ему скажем завтра? — говорил отец.

— Вы не виноваты перед ним, что я несогласна.

Часа два продолжалась сцена. Марья Алексевна бесилась, двадцать раз начинала кричать и сжимала кулаки, но Верочка говорила: «не вставайте, или я уйду». Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла Матрена и спросила, подавать ли обед — пирог уже перестоялся.

— Подумай до вечера, Вера, одумайся, дура! — сказала Марья Алексевна и шепнула что-то Матрене.

— Маменька, вы что-то хотите сделать надо мною, вынуть ключ из двери моей

комнаты, или что-нибудь такое. Не делайте ничего: хуже будет.

Марья Алексевна сказала кухарке: «не надо». — «Экой зверь какой, Верка-то! Как бы не за рожу ее он ее брал, в кровь бы ее всю избить, а теперь как тронуть? Изуродует себя, проклятая!».

Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константиныч прилег, по обыкновению, соснуть. Но это не удалось ему: только что стал он дремать, вошла Матрена и сказала, что хозяйский человек пришел; хозяйка просит Павла Константиныча сейчас же пожаловать к ней. Матрена вся дрожала, как осиноый лист; ей-то какое дело дрожать?

VIII

А как же прикажете ей не дрожать, когда через нее сочинилась вся эта беда? Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйкина повара, что «ваш барин сосватал нашу барышню»; призвали младшую горничную хозяйки, стали упрекать, что она не по-приятельски себя ведет, ничего им до сих пор не сказала; младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицают ее — она никогда ничего не скрывала; ей сказали — «я сама ничего не слышала», — перед нею извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности, она побежала сообщить новость старшей горничной, старшая горничная сказала: «значит, это он сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала, уж я все то должна знать, что Анна Петровна знает», и пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала Матрена! «Язычок мой проклятый, много он меня губил!» — думала она. Ведь доследует Марья Алексевна, через кого вышло наружу. Но дело пошло так, что Марья Алексевна забыла доследовать, через кого оно вышло.

Анна Петровна ахала, охала, два раза упала в обморок, — наедине со старшею горничною; значит, сильно была огорчена, и послала за сыном. Сын явился.

— Мишель, справедливо ли то, что я слышу? (тоном гневного страдания.)

— Что вы слышали, тамап?

— То, что ты сделал предложение этой... этой... этой... дочери нашего управляющего?

— Сделал, тамап.

— Не спросив мнения матери?

— Я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее.

— Я полагаю, что в ее согласии ты мог быть более уверен, чем в моем.

— Мамап, так нынче принято, что прежде узнают о согласии девушки, потом уже говорят родственникам.

— Это по-твоему принято? быть может, по-твоему также принято: сыновьям хороших фамилий жениться бог знает на ком, а матерям соглашаться на это?

— Она, тамап, не бог знает кто; когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор.

— «Когда я узнаю ее!» — я никогда не узнаю ее! «одобрю твой выбор!» — я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!

— Мамап, это не принято нынче; я не маленький мальчик, чтоб вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду.

— Ах! — Анна Петровна закрыла глаза.

Перед Марьею Алексевною, Жюли, Верочкою Михаил Иванович пасовал, но ведь они были женщины с умом и характером; а тут по части ума бой был равный, и если по характеру был небольшой перевес на стороне матери, то у сына была под ногами надежная почва; он до сих пор боялся матери по привычке, но они оба твердо помнили, что ведь по настоящему-то, хозяйка-то не хозяйка, а хозяйнова мать, не больше, что хозяйкин сын не хозяйкин сын, а хозяин. Потому-то хозяйка и медлила решительным словом «запрещаю», тянула разговор, надеясь сбить и утомить сына прежде, чем дойдет до настоящей схватки. Но сын зашел уже так далеко, что нельзя было вернуться, и он по необходимости должен был держаться.

— Матап, уверяю вас, что лучшей дочери вы не могли бы иметь.

— Изверг! Убийца матери!

— Матап, будемте рассуждать хладнокровно. Раньше или позже жениться надобно, а женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. Я бы мог, пожалуй, жениться на такой, что все доходы с дома понадобились бы на мое хозяйство. А она будет почтительною дочерью, и мы могли бы жить с вами, как до сих пор.

— Изверг! Убийца мой! Уйди с моих глаз!

— Матап, не сердитесь: я ничем не виноват.

— Женитесь на какой-то дряни, и не виноват.

— Ну, теперь, матап, я сам уйду. Я не хочу, чтобы при мне называли ее такими именами.

— Убийца мой! — Анна Петровна упала в обморок, а Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего.

Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок. Сын решительно отбивается от рук! В ответ на «запрещаю!» он объясняет, что дом принадлежит ему! — Анна Петровна подумала, подумала, излила свою скорбь старшей горничной, которая в этом случае совершенно разделяла чувства хозяйки по презрению к дочери управляющего, посоветовалась с нею и послала за управляющим.

— Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константиныч: но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, могут заставить меня поссориться с вами.

— Ваше превосходительство, я ни в чем тут не виноват, бог свидетель.

— Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительна к шалостям молодых людей. Но я не потерплю унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?

— Ваше превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении.

— То есть, что это значит?

— Она, ваше превосходительство, против вашей воли никогда не посмеет.

Анна Петровна ушам своим не верила. Неужели, в самом деле, такое благополучие?

— Вам должна быть известна моя воля... Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать, неприличный брак.

— Мы это чувствуем, ваше превосходительство, и Верочка чувствует. Она так к сказала: я не смею, говорит, прогневать их превосходительство.

— Как же это было?

— Так было, ваше превосходительство, что Михаил Иванович выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам, Михаил Иванович, ничего не скажу до завтраго утра, а мы с женою были намерены, ваше превосходительство, явиться к вам и доложить обо всем, потому что как в теперешнее позднее время не осмеливались тревожить ваше превосходительство. А когда Михаил Иванович ушли, мы сказали Верочке, и она говорит: я с вами, папенька и маменька, совершенно согласна, что нам об этом думать не следует.

— Так она благоразумная и честная девушка?

— Как же, ваше превосходительство, почтительная девушка!

— Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. По парадной лестнице, где живет портной, квартира во 2-м этаже ведь свободна?

— Через три дня освободится, ваше превосходительство.

— Возьмите ее себе. Можете израсходовать до 100 рублей на отделку. Прибавляю вам и жалованья 240 р. в год.

— Позвольте попросить ручку у вашего превосходительства!

— Хорошо, хорошо. Татьяна! — Вошла старшая горничная. — Найди мое синее

бархатное пальто. Это я дарю вашей жене. Оно стоит 150 р. (85 р.), я его только 2 раза (гораздо более 20) надевала. Это я дарю вашей дочери, Анна Петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы, — я за них заплатила 300 р. (120 р.). Я умею награждать, и вперед не забуду. Я снисходительна к шалостям молодых людей.

Отпустив управляющего, Анна Петровна опять кликнула Татьяну.

— Попросить ко мне Михаила Ивановича, — или нет, лучше я сама пойду к нему. — Она побоялась, что посланница передаст лакею сына, а лакей сыну содержание известий, сообщенных управляющим, и букет выдохнется, не так шибнет сыну в нос от ее слов.

Михаил Иванович лежал, и не без некоторого довольства покручивал усы. — «Это еще зачем пожаловала сюда-то? Ведь у меня нет нюхательных спиртов от обмороков», думал он, вставая при появлении матери. Но он увидел на ее лице презрительное торжество.

Она села, сказала:

— Садитесь, Михаил Иванович, и мы поговорим, — и долго смотрела за него с улыбкою; наконец, произнесла: — Я очень довольна, Михаил Иванович; отгадайте, чем я довольна?

— Я не знаю, что и подумать, татап; вы так странно...

— Вы увидите, что нисколько не странно; подумайте, может быть, и отгадаете.

Опять долгое молчание. Он теряется в недоумениях, она наслаждается торжеством,

— Вы не можете отгадать, — я вам скажу. Это очень просто и натурально; если бы в вас была искра благородного чувства, вы отгадали бы. Ваша любовница, — в прежнем разговоре Анна Петровна лавировала, теперь уж нечего было лавировать: у неприятеля отнято средство победить ее, — ваша любовница, — не возражайте, Михаил Иванович, вы сами повсюду разглашали, что она ваша любовница, — это существо низкого происхождения, низкого воспитания, низкого поведения, — даже это презренное существо...

— Матап, я не хочу слушать таких выражений о девушке, которая будет моею женою.

— Я и не употребляла б их, если бы полагала, что она будет вашею женою. Но я и начала с тою целью, чтобы объяснить вам, что этого не будет и почему не будет. Дайте же мне докончить. Тогда вы можете свободно порицать меня за те выражения, которые тогда останутся неуместны по вашему мнению, но теперь дайте мне докончить. Я хочу сказать, что ваша любовница, это существо без имени, без воспитания, без поведения, без чувства, — даже она пристыдила вас, даже она поняла все неприличие вашего намерения...

— Что? Что такое, татап? говорите же!

— Вы сами задерживаете меня. Я хотела сказать, что даже она, — понимаете ли, даже она! — умела понять и оценить мои чувства, даже она, узнавши от матери о вашем предложении, прислала своего отца сказать мне, что не восстанет против моей воли и не обесчестит нашей фамилии своим замаранным именем.

— Матап, вы обманываете?

— К моему и вашему счастью, нет. Она говорит, что...

Но Михаила Ивановича уже не было в комнате, он уже накидывал шинель.

— Держи его, Петр, держи его! — закричала Анна Петровна, Петр разинул рот от такого чрезвычайного распоряжения, а Михаил Иванович уже сбегал по лестнице.

IX

— Ну, чтоб — спросила Марья Алексевна входящего мужа.

— Отлично, матушка; она уж узнала и говорит: как вы осмеливаетесь? а я говорю: мы не осмеливаемся, ваше превосходительство, и Верочка уж отказала.

— Что? что? Ты так с дуру-то и бухнул, осел?

— Марья Алексевна...

— Осел! подлец! убил! зарезал! Вот же тебе! — муж получил пощечину. — Вот же тебе! — другая пощечина. — Вот как тебя надобно учить, дурака! — Она схватила его за волоса и начала таскать. Урок продолжался немало времени, потому что Сторешников, после длинных пауз и назиданий матери, вбежавший в комнату, застал Марью Алексевну еще в

полном жару преподавания.

— Осел, и дверь-то не запер, — в каком виде чужие люди застают! стыдился бы, свинья ты этакая! — только и нашлась сказать Марья Алексевна.

— Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру Павловну, сейчас же! Неужели она отказывает?

Обстоятельства были так трудны, что Марья Алексевна только махнула рукою. То же самое случилось и с Наполеоном после Ватерлооской битвы, когда маршал Груши оказался глуп, как Павел Константиныч, а Лафайет стал буянить, как Верочка: Наполеон тоже бился, бился, совершал чудеса искусства, — и остался не при чем, и мог только махнуть рукой и сказать: отрекаюсь от всего, делай, кто хочет, что хочет и с собою, и со мною.

— Вера Павловна! Вы отказываете мне?

— Судите сами, могу ли не отказать вам!

— Вера Павловна! я жестоко оскорбил вас, я виноват, достоин казни, но не могу перенести вашего отказа... — и так дальше, и так дальше.

Верочка слушала его несколько минут, наконец пора же прекратить — это тяжело.

— Нет, Михаил Иванович, довольно; перестаньте. Я не могу согласиться.

— Но если так, я прошу у вас одной пощады: вы теперь еще слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас... не давайте мне теперь ответа, оставьте мне время заслужить ваше прощение! Я кажусь вам низок, подл, но посмотрите, быть может, я исправлюсь, я употреблю все силы на то, чтоб исправиться! Помогите мне, не отталкивайте меня теперь, дайте мне время, я буду во всем слушаться вас! Вы увидите, как я покорен; быть может, вы увидите во мне и что-нибудь хорошее, дайте мне время.

— Мне жаль вас, — сказала Верочка: — я вижу искренность вашей любви (Верочка, это еще вовсе не любовь, это смесь разной гадости с разной дрянью, — любовь не то; не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от нее отказ, — любовь вовсе не то, — но Верочка еще не знает этого, и растрогана), — вы хотите, чтобы я не давала вам ответа — извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не поведет: я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.

— Я заслужу, заслужу другой ответ, вы спасаете меня! — он схватил ее руку и стал целовать.

Марья Алексевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей без формальности, то есть без Павла Константиныча, потом позвать его и благословить парадно. Сторешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Вера Павловна, хотя и не согласилась, но и не отказала, а отложила ответ. Плохо, но все-таки хорошо сравнительно с тем, что было.

Сторешников возвратился домой с победою. Опять явился на сцену дом, и опять Анне Петровне приходилось только падать в обмороки.

Марья Алексевна решительно не знала, что и думать о Верочке. Дочь и говорила, и как будто бы поступала решительно против ее намерений. Но выходило то, что дочь победила все трудности, с которыми не могла сладить Марья Алексевна. Если судить по ходу дела, то оказывалось: Верочка хочет того же, чего и она, Марья Алексевна, только, как ученая и тонкая штука, обрабатывает свою материю другим манером. Но если так, зачем же она не скажет Марье Алексевне: матушка, я хочу одного с вами, будьте спокойны! Или уж она так озлоблена на мать, что и то самое дело, в котором обе должны бы действовать заодно, она хочет вести без матери? Что она медлит ответом, это понятно для Марьи Алексевны: она хочет совершенно вышколить жениха, так чтоб он без нее дохнуть не смел, и вынудить покорность у Анны Петровны. Очевидно, она хитрее самой Марьи Алексевны. Когда Марья Алексевна размышляла, размышления приводили ее именно к такому взгляду. Но глаза и уши постоянно свидетельствовали против него. А между тем как же быть, если он и ошибочен, если дочь действительно не хочет идти за Сторешникова? Она такой зверь, что неизвестно, как ее укротить. По всей вероятности, негодная Верка не хочет выходить замуж, — это даже несомненно, — здравый смысл был слишком силен в Марье Алексевне,

чтобы обольститься хитрыми ее же собственными раздумьями о Верочке, как о тонкой интриганке; но эта девчонка устраивает все так, что если выйдет (а чорт ее знает, что у ней на уме, может быть, и это!), то действительно уже будет полной госпожой и над мужем, и над его матерью, и над домом, — что ж остается? Ждать и смотреть, — больше ничего нельзя. Теперь Верка еще не хочет, а попривыкнет, шутя и захочет, — ну, и припугнуть можно будет... только во-время! а теперь надо только ждать, когда придет это время. Марья Алексевна и ждала. Но соблазнительна была для нее мысль, осуждаемая ее здравым смыслом, что Верка ведет дело к свадьбе. Все, кроме слов и поступков Верочки, подтверждало эту мысль: жених был шелковый. Мать жениха боролась недели три, но сын побивал ее домом, и она стала смиряться. Выразила желание познакомиться с Верочкой, — Верочка не отправилась к ней. В первую минуту Марья Алексевна подумала, что, если б она была на месте Верочки, она поступила бы умнее, отправилась бы, но, подумав, поняла, что не отправляться — гораздо умнее. О, это хитрая штука! — и точно: недели через две Анна Петровна зашла сама, под предлогом посмотреть новую отделку новой квартиры, была холодна, язвительно любезна; Верочка после двух-трех ее колких фраз ушла в свою комнату; пока они не ушла, Марья Алексевна не думала, что нужно уйти, думала, что нужно отвечать колкостями на колкости, но, когда Верочка ушла, Марья Алексевна сейчас поняла: да, уйти лучше всего, — пусть ее допекает сын, это лучше! Недели через две Анна Петровна опять зашла, и уже не выставляла предлогов для посещения, сказала просто, что зашла навестить, и при Верочке не говорила колкостей.

Так шло время. Жених делал подарки Верочке: они делались через Марью Алексевну и, конечно, оставались у ней, подобно часам Анны Петровны, впрочем, не все; иные, которые подешевле, Марья Алексевна отдавала Верочке под именем вещей, оставшихся невыкупленными в залоге: надобно же было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Он видал и убеждался, что Верочка решилась согласиться — иначе не принимала бы его подарков; почему ж она медлит? он сам понимал, и Марья Алексевна указывала, почему: она ждет, пока совершенно объездится Анна Петровна... И он с удвоенным усердием гонял на корде свою родительницу, — занятие, доставлявшее ему немало удовольствия.

Таким образом Верочку оставляли в покое, смотрели ей в глаза. Эта собачья угодливость была ей гадка, она старалась как можно меньше быть с матерью. Мать перестала осмеливаться входить в ее комнату, и когда Верочка сидела там, то есть почти круглый день, ее не тревожили. Михаилу Иванычу позволяла она иногда заходить и в ее комнату. Он был с нею послушен, как ребенок: она велела ему читать, — он читал усердно, будто готовился к экзамену; толку из чтения извлекал мало, но все-таки кое-какой толк извлекал; она старалась помогать ему разговорами, — разговоры были ему понятнее книг, и он делал кое-какие успехи, медленные, очень маленькие, но все-таки делал. Он уж начал несколько приличнее прежнего обращаться с матерью, стал предпочитать гонянью на корде простое держанье в узде.

Так прошло три-четыре месяца. Было перемирие, было спокойствие, но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания — не нынче, так завтра или Михаил Иваныч, или Марья Алексевна приступят с требованием согласия, — ведь не век же они будут терпеть. Если бы я хотел сочинять эффектные столкновения, я б и дал этому положению трескучую развязку: но ее не было на деле; если б я хотел заманивать неизвестностью, я бы не стал говорить теперь же, что ничего подобного не произошло; но я пишу без уловок, и потому вперед говорю: трескучего столкновения не будет, положение развяжется без бурь, без громов и молний.

Глава вторая

Первая любовь и законный брак

I

Известно, как в прежние времена оканчивались подобные положения: отличная девушка в гадком семействе; насильно навязываемый жених пошлый человек, который ей не нравится, который сам по себе был дрянноватым человеком, и становился бы чем дальше, тем дряннее, но, насильно держась подле нее, подчиняется ей и понемногу становится похож на человека так себе, не хорошего, но и не дурного. Девушка начинала тем, что не пойдет за него; но постепенно привыкала иметь его под своею командою и, убеждаясь, что из двух зол — такого мужа и такого семейства, как ее родное, муж зло меньшее, осчастливливала своего поклонника; сначала было ей гадко, когда она узнавала, что такое значит осчастливливать без любви; был послушен: стерпится — слюбится, и она обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так бывало прежде с отличными девушками, так бывало прежде и с отличными юношами, которые все обращались в хороших людей, живущих на земле тоже только затем, чтобы коптить небо. Так бывало прежде, потому что порядочных людей было слишком мало: такие, видно, были урожаи на них в прежние времена, что рос «колос от колоса, не слышать и голоса». А век не проживешь ни одинокою, ни одиноким, не зачахнувши, — вот они и чахли или примирились с пошлостью.

Но теперь чаще и чаще стали другие случаи: порядочные люди стали встречаться между собою. Да и как же не случаться этому все чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым новым годом? А со временем это будет самым обыкновенным случаем, а еще со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо.

Верочке и теперь хорошо. Я потому и рассказываю (с ее согласия) ее жизнь, что, сколько я знаю, она одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо. Первые случаи имеют исторический интерес. Первая ласточка очень интересует северных жителей.

Случай, с которого стала устраиваться ее жизнь хорошо, был такого рода. Надобно стало готовить в гимназию маленького брата Верочки. Отец стал спрашивать у сослуживцев дешевого учителя. Один из сослуживцев рекомендовал ему медицинского студента Лопухова.

Раз пять или шесть Лопухов был на своем новом уроке, прежде чем Верочка и он увидели друг друга. Он сидел с Федей в одном конце квартиры, она в другом конце, в своей комнате. Но дело подходило к экзаменам в академии; он перенес уроки с утра на вечер, потому что по утрам ему нужно заниматься, и когда пришел вечером, то застал все семейство за чаем.

На диване сидели лица знакомые: отец, мать ученика, подле матери, на стуле, ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое — высокая стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами — «густые, хорошие волосы», с черными глазами — «глаза хорошие, даже очень хорошие», с южным типом лица — «как будто из Малороссии; пожалуй, скорее даже кавказский тип; ничего, очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по южному; здоровье хорошее: нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ! Да, румянец здоровый и грудь широкая, — не познакомится со стетоскопом. Когда войдет в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь».

И она посмотрела на вошедшего учителя. Студент был уже не юноша, человек среднего роста или несколько повыше среднего, с темными каштановыми волосами, с правильными, даже красивыми чертами лица, с гордым и смелым видом — «не дурен и, должно быть, добр, только слишком серьезен».

Она не прибавила в мыслях: «а впрочем, не интересуюсь», потому что и вопроса не было, станет ли она им интересоваться. Разве Федя не говорил ей столько, что скучно стало и слушать? — «Он, сестрица, добрый, только неразговорчивый. А я ему, сестрица, сказал, что вы у нас красавица, а он, сестрица, сказал: „ну, так что же?“, а я, сестрица, сказал: да ведь красавиц все любят, а он сказал: „все глупые любят“, а я сказал: а разве вы их не любите? а

он сказал: „мне некогда“. А я ему, сестрица, сказал: так вы с Верочкою не хотите познакомиться? а он сказал: „у меня и без нее много знакомых“. — Это все наболтал Федя вскоре после первого же урока и потом болтал все в том же роде, с разными такими прибавлениями: а я ему, сестрица, нынче сказал, что на вас все смотрят, когда вы где бываете, а он, сестрица, сказал: «ну и прекрасно»; а я ему сказал: а вы на нее не хотите посмотреть? а он сказал: «еще увижу». — Или, потом: а я ему, сестрица, сказал, какие у вас ручки маленькие, а он, сестрица, сказал: «вам болтать хочется, так разве не о чем другом, полюбопытнее».

И учитель узнал от Феди все, что требовалось узнать о сестрице; он останавливал Федю от болтовни о семейных делах, да как вы помешаете девятилетнему ребенку выболтать вам все, если не запугаете его? на пятом слове вы успеваете перервать его, но уж поздно, — ведь дети начинают без приступа, прямо с сущности дела; и в перемежку с другими объяснениями всяких других семейных дел учитель слышал такие начала речей: «А у сестрицы жених-то богатый! А маменька говорит: жених-то глупый!» «А уж маменька как за женихом-то ухаживает!» «А маменька говорит: сестрица ловко жениха поймала!» «А маменька говорит: я хитра, а Верочка хитрее меня!» «А маменька говорит: мы женихову-то мать из дому выгоним», и так дальше.

Натурально, что, при таких сведениях друг о друге, молодые люди имели мало охоты знакомиться. Впрочем, мы знаем пока только, что это было натурально со стороны Верочки: она не стояла на той степени развития, чтобы стараться «побеждать дикарей» и «сделать этого медведя ручным», — да и не до того ей было: она рада была, что ее оставляют в покое; она была разбитый, измученный человек, которому как-то посчастливилось прилечь так, что сломанная рука затихла, и боль в боку не слышна, и который боится пошевелинуться, чтоб не возобновилась прежняя ломота во всех суставах. Куда уж ей пускаться в новые знакомства, да еще с молодыми людьми?

Да, Верочка так; ну, а он? Дикарь он, судя по словам Феди, и голова его набита книгами да анатомическими препаратами, составляющими самую милую приятность, самую сладостнейшую пищу души для хорошего медицинского студента. Или Федя наврал на него?

II

Нет, Федя не наврал на него; Лопухов, точно, был такой студент, у которого голова набита книгами, — какими, это мы увидим из библиографических исследований Марьи Алексевны, — и анатомическими препаратами: не набивши голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это. Но так как мы видим, что из сведений, сообщенных Федею о Верочке, Лопухов не слишком-то хорошо узнал ее, следовательно и сведения, которые сообщены Федею об учителе, надобно пополнить, чтобы хорошо узнать Лопухова.

По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании, студентов, которое не голодает и не холодает. Как и чем живет огромное большинство их — это богу, конечно, известно, а людям непостижимо. Но наш рассказ не хочет заниматься людьми, нуждающимися в съестном продовольствии; потому он упомянет лишь в двух-трех словах о времени, когда Лопухов находился в таком неприличном состоянии.

Да и находился-то он в нем недолго, — года три, даже меньше. До медицинской академии питался он в изобилии. Отец его, рязанский мещанин, жил, по мещанскому званию, достаточно, то есть его семейство имело щи с мясом не по одним воскресеньям, и даже пило чай каждый день. Содержать сына в гимназии он кое-как мог; впрочем, с 15 лет сын сам облегчал это кое-какими уроками. Для содержания сына в Петербурге ресурсы отца были неудовлетворительны; впрочем, в первые два года Лопухов получал из дому рублей по 35 в год, да еще почти столько же доставал перепискою бумаг по вольному найму в одном из кварталов Выборгской части, — только вот в это-то время он и нуждался. Да и то был сам

виноват: его, было, приняли на казенное содержание, но он завел какую-то ссору и должен был удалиться на подножный корм. Когда он был в третьем курсе, дела его стали поправляться: помощник квартального надзирателя предложил ему уроки, потом стали находиться другие уроки, и вот уже два года перестал нуждаться и больше года жил на одной квартире, но не в одной, а в двух разных комнатах, — значит, не бедно, — с другим таким же счастливецом Кирсановым. Они были величайшие друзья. Оба рано привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, не имея никакой поддержки; да и вообще, между ними было много сходства, так что, если бы их встречать только порознь, то оба они казались бы людьми одного характера. А когда вы видели их вместе, то замечали, что хоть оба они люди очень солидные и очень открытые, но Лопухов несколько сдержаннее, его товарищ — несколько экспансивнее. Мы теперь видим только Лопухова, Кирсанов явится гораздо позднее, а врознь от Кирсанова о Лопухове можно заметить только то, что надобно было бы повторять и о Кирсанове. Например, Лопухов больше всего был теперь занят тем, как устроить свою жизнь по окончании курса, до которого осталось ему лишь несколько месяцев, как и Кирсанову, а план будущности был у них обоих одинаковый.

Лопухов положительно знал, что будет ординатором (врачом) в одном из петербургских военных госпиталей — это считается большим счастьем — и скоро получит кафедру в Академии. Практикой он не хотел заниматься. Это черта любопытная; в последние лет десять стала являться между некоторыми лучшими из медицинских студентов решимость не заниматься, по окончании курса, практикою, которая одна дает медику средства для достаточной жизни, и при первой возможности бросить медицину для какой-нибудь из ее вспомогательных наук — для физиологии, химии, чего-нибудь подобного. А ведь каждый из этих людей знает, что, занявшись практикою, он имел бы в 30 лет громкую репутацию, в 35 лет — обеспечение на всю жизнь, в 45 — богатство. Но они рассуждают иначе: видите ли, медицина находится теперь в таком младенческом состоянии, что нужно еще не лечить, а только подготавливать будущим врачам материалы для умения лечить. И вот они, для пользы любимой науки, — они ужасные охотники бранить медицину, только посвящают все свои силы ее пользе, — они отказываются от богатства, даже от довольства, и сидят в госпиталях, делая, видите ли, интересные для науки наблюдения, режут лягушек, вскрывают сотни трупов ежегодно и при первой возможности обзаводятся химическими лабораториями. С какою степенью строгости исполняют они эту высокую решимость, зависит, конечно, оттого, как устраивается их домашняя жизнь: если не нужно для близких им, они так и не начинают заниматься практикою, то есть оставляют себя почти в нищете; но если заставляет семейная необходимость, то обзаводятся практикою настолько, насколько нужно для семейства, то есть в очень небольшом размере, и лечат лишь людей, которые действительно больны и которых действительно можно лечить при нынешнем еще жалком положении науки, то есть больных, вовсе невыгодных. Вот к этим-то людям принадлежали Лопухов и Кирсанов. Они должны были в том году кончить курс и объявили, что будут держать (или, как говорится в Академии: сдавать) экзамен прямо на степень доктора медицины; теперь они оба работали для докторских диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек; оба они выбрали своею специальностью нервную систему и, собственно говоря, работали вместе; но для диссертационной формы работа была разделена: один вписывал в материалы для своей диссертации факты, замечаемые обоими по одному вопросу, другой по другому.

Однако пора же, наконец, говорить об одном Лопухове. Было время, он порядком кутил; это было, когда он сидел без чаю, иной раз без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться. Но кутеж был следствием тоски от невыносимой нищеты, не больше. Теперь давно уж не было человека, который вел бы более строгую жизнь, — и не в отношении к одному вину. В старину у Лопухова было довольно много любовных приключений. Однажды, например, произошла такая история, что он влюбился в заезжую танцовщицу. Как тут быть? Он подумал, подумал да и отправился к ней на квартиру. — «Что

вам угодно?». — «Прислан от графа такого-то с письмом». — Студенческий мундир был без затруднения принят слугою за писарский или какой-нибудь особенный денщицкий. — «Давайте письмо. Ответа будете ждать?» — «Граф приказал ждать». Слуга возвратился в удивлении. — «Велела вас позвать к себе». — «Так вот он, вот он! Кричит мне всегда так, что даже из уборной различаю его голос. Много раз отводили вас в полицию за неистовства в мою честь?» — «Два раза». — «Мало. Ну, зачем вы здесь?» — «Видеть вас». — «Прекрасно. А что дальше?» — «Не знаю. Что хотите». — «Ну, я знаю, что хочу. Я хочу завтракать. Видите прибор на столе. Садитесь и вы». — Подали другой прибор. Она смеялась над ним, он смеялся над собою. Он молод, недурен собою, неглуп, — да и оригинально, — почему не подурчиться с ним? Дурачилась с ним недели две, потом сказала: «убирайтесь!». — «Да я уж и сам хотел, да неловко было!». — «Значит, расстаемся друзьями?» — Обнялись еще раз, и отлично. Но это было давно, года три назад, а теперь, года два уж, он бросил всякие шалости.

Кроме товарищей да двух-трех профессоров, предвидевших в нем хорошего деятеля науки, он виделся только с семействами, в которых давал уроки. Но с этими семействами он только виделся: он как огня боялся фамильярности и держал себя очень сухо, холодно со всеми лицами в них, кроме своих маленьких учеников и учениц.

III

Итак, Лопухов вошел в комнату, увидел общество, сидевшее за чайным столом, в том числе и Верочку; ну, конечно, и общество увидело, в том числе и Верочка увидела, что в комнату вошел учитель.

— Прошу садиться, — сказала Марья Алексевна: — Матрена, дай еще стакан.

— Если это для меня, то благодарю вас: я не буду пить.

— Матрена, не нужно стакана. (Благовоспитанный молодой человек!) Почему же не будете? Выкушали бы.

Он смотрел на Марью Алексевну, но тут, как нарочно, взглянул на Верочку, — а может быть, и в самом деле, нарочно? Может быть, он заметил, что она слегка пожала плечами? «А ведь он увидел, что я покраснела».

— Благодарю вас; я пью чай только дома.

«Однако ж он вовсе не такой дикарь, он вошел и поклонился легко, свободно», — замечается про себя на одной стороне стола. — «Однако ж если она и испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлостей матери», замечается на другой стороне стола.

Но Федя скоро кончил чай и отправился учиться. Таким образом важнейший результат вечера был только тот, что Марья Алексевна составила себе выгодное мнение об учителе, видя, что ее сахарница, вероятно, не будет терпеть большого ущерба от перенесения уроков с утра на вечер.

Через два дня учитель опять нашел семейство за чаем и опять отказался от чаю и тем окончательно успокоил Марью Алексевну. Но в этот раз он увидел за столом еще новое лицо — офицера, перед которым лебезила Марья Алексевна. «А, жених!»

А жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а, увидев, смерить его с головы до ног небрежным, медленным взглядом, принятым в хорошем обществе. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель — не то, чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже: смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что, вместо продолжения мерки, жених сказал:

— А трудная ваша часть, мсье Лопухов, — я говорю, докторская часть.

— Да, трудная. — И все продолжает смотреть прямо в глаза.

Жених почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы своего виц-мундира, ну, если дело дошло до пуговиц, значит, уже нет иного спасения, как поскорее допивать стакан, чтобы спросить у Марьи Алексевны другой.

— На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка?

— Да, я служу в таком-то полку, — отвечает Михаил Иваныч.

— И давно служите?

— Девять лет.

— Прямо поступили на службу в этот полк?

— Прямо.

— Имеете роту или еще нет?

— Нет, еще не имею. (Да он меня допрашивает, точно я к нему ординарцем явился.)

— Скоро надеетесь получить?

— Нет еще.

— Гм. — Учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу.

«Однако же — однако же», — думает Верочка, — что такое «однако же»? — Наконец нашла, что такое это «однако же» — «однако же он держит себя так, как держал бы Серж, который тогда приезжал с доброю Жюли». Какой же он дикарь? Но почему же он так странно говорит о девушках, о том, что красавиц любят глупые и — и — что такое «и» — нашла что такое «и» — и почему же он не хотел ничего слушать обо мне, сказал, что это не любопытно?

— Верочка, ты сыграла бы что-нибудь на фортепьянах, мы с Михаилом Иванычем послушали бы! — говорит Марья Алексевна, когда Верочка ставит на стол вторую чашку.

— Пожалуй.

— И если бы вы спели что-нибудь, Вера Павловна, — прибавляет заискивающим тоном Михаил Иваныч.

— Пожалуй.

Однако ж это «пожалуй» звучит похоже на то, что «я готова, чтобы только отвязаться», — думает учитель. И ведь вот уже минут пять он сидит тут и хоть на нее не смотрел, но знает, что она ни разу не взглянула на жениха, кроме того, когда теперь вот отвечала ему. А тут посмотрела на него точно так, как смотрела на мать и отца, — холодно и вовсе не любезно. Тут что-то не так, как рассказывал Федя. Впрочем, скорее всего, действительно, девушка гордая, холодная, которая хочет войти в большой свет, чтобы господствовать и блистать, ей неприятно, что не нашелся для этого жених получше; но презирая жениха, она принимает его руку, потому что нет другой руки, которая ввела бы ее туда, куда хочется войти. А впрочем, это несколько интересно.

— Федя, а ты допивай поскорее, — заметила мать.

— Не торопите его, Марья Алексевна, я хочу послушать, если Вера Павловна позволит.

Верочка взяла первые ноты, какие попались, даже не посмотрев, что это такое, раскрыла тетрадь опять, где попало, и стала играть машинально, — все равно, что бы ни сыграть, лишь бы поскорее отделаться. Но пьеса попала со смыслом, что-то из какой-то порядочной оперы, и скоро игра девушки оживилась. Кончив, она хотела встать.

— Но вы обещались спеть, Вера Павловна: если бы я смел, я попросил бы вас пропеть из Риголетто (в ту зиму «*La donna e mobile*»⁴ была модною арией).

— Извольте, — Верочка пропела «*La donna e mobile*», встала и ушла в свою комнату.

«Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно».

— Не правда ли, хорошо? — сказал Михаил Иваныч учителю уже простым голосом и без снимания мерки; ведь не нужно быть в дурных отношениях с такими людьми, которые допрашивают ординарцев, — почему ж не заговорить без претензий с учителем, чтобы он не сердился?

— Да, хорошо.

— А вы знаток в музыке?

— Так себе.

⁴ Женщина изменчива (итал.) — Ред.

— И сами музыкант?

— Несколько.

У Марьи Алексевны, слушавшей разговор, блеснула счастливая мысль.

— А на чем вы играете, Дмитрий Сергеич? — спросила она.

— На фортепьяно.

— Можно ли попросить вас доставить нам удовольствие?

— Очень рад.

Он сыграл какую-то пьесу. Играл он не бог знает как, но так себе, пожалуй, и недурно.

Когда он оканчивал урок, Марья Алексевна подошла к нему и сказала, что завтра у них маленький вечер — день рожденья дочери, и что она просит его пожаловать.

Понятно, в кавалерах недостаток, по обычаю всех таких вечеров; но ничего, он посмотрит поближе на эту девушку, — в ней или с ней есть что-то интересное. — «Очень благодарен, буду». — Но учитель ошибся: Марья Алексевна имела цель гораздо более важную для нее, чем для танцующих девиц.

Читатель, ты, конечно, знаешь вперед, что на этом вечере будет объяснение, что Верочка и Лопухов полюбят друг друга? — разумеется, так.

IV

Марья Алексевна хотела сделать большой вечер в день рождения Верочки, а Верочка упрашивала, чтобы не звали никаких гостей; одной хотелось устроить выставку жениха, другой выставка была тяжела. Поладили на том, чтоб сделать самый маленький вечер, пригласить лишь несколько человек близких знакомых. Позвали сослуживцев (конечно, постарше чинами и повыше должностями) Павла Константиныча, двух приятельниц Марьи Алексевны, трех девушек, которые были короче других с Верочкой.

Осматривая собравшихся гостей, Лопухов увидел, что в кавалерах нет недостатка: при каждой из девиц находился молодой человек, кандидат в женихи или и вовсе жених. Стало быть, Лопухова пригласили не в качестве кавалера; зачем же? Подумавши, он вспомнил, что приглашению предшествовало испытание его игры на фортепьяно. Стало быть, он позван для сокращения расходов, чтобы не брать тапера. «Хорошо, — подумал он: — извините, Марья Алексевна», и подошел к Павлу Константинычу.

— А что, Павел Константиныч, пора бы устроить вист: видите, старички-то скучают?

— А вы по какой играете?

— По всякой.

Тотчас же составила партия, и Лопухов уселся играть. Академия на Выборгской стороне — классическое учреждение по части карт. Там не редкость, что в каком-нибудь номере (т. е. в комнате казенных студентов) играют полтора суток сряду. Надобно признаться, что суммы, находящиеся в обороте на карточных столах, там гораздо меньше, чем в английском клубе, но уровень искусства игроков выше. Сильно игрывал в свое — то есть в безденежное — время и Лопухов.

— Mesdames, как же быть? — играть поочередно, это так; но ведь нас остается только семь; будет недоставать кавалера или дамы для кадрили.

Первый роббер оканчивался, когда одна из девиц, самая бойкая, подлетела к Лопухову.

— Мсье Лопухов, вы должны танцевать.

— С одним условием, — сказал он, вставая и кланяясь.

— Каким?

— Я прошу у вас первую кадрили.

— Ах, боже мой, я на первую ангажирована; вторую — извольте.

Лопухов снова сделал глубокий поклон. Двое из кавалеров поочередно играли. На третью кадрили Лопухов просил Верочку, — первую она танцевала с Михайлом Ивановичем, вторую он с бойкой девицею.

Лопухов наблюдал Верочку и окончательно убедился в ошибочности своего прежнего

понятия о ней, как о бездушной девушке, холодно выходящей по расчету за человека, которого презирает: он видел перед собою обыкновенную молоденькую девушку, которая от души танцует, хохочет; да, к стыду Верочки, надобно сказать, что она была обыкновенная девушка, любившая танцевать. Она настаивала, чтобы вечера вовсе не было, но вечер устроился, маленький, без выставки, стало быть, неотяготительный для нее, и она, — чего никак не ожидала, — забыла свое горе: в эти годы горевать так не хочется, бегать, хохотать и веселиться так хочется, что малейшая возможность забыть заставляет забыть на время горе. Лопухов был расположен теперь в ее пользу, но ему все еще было непонятно многое.

Он был заинтересован странностью положения Верочки.

— Мсье Лопухов, я никак не ожидала видеть вас танцующим, — начала она.

— Почему же? разве это так трудно, танцевать?

— Вообще-конечно, нет; для вас — разумеется, да.

— Почему ж для меня?

— Потому что я знаю вашу тайну, — вашу и федину: вы пренебрегаете женщинами.

— Федя не совсем верно понял мою тайну: я не пренебрегаю женщинами, но я избегаю их, — и знаете, почему? у меня есть невеста, очень ревнивая, которая, чтоб заставить меня избегать их, рассказала мне их тайну.

— У вас есть невеста?

— Да.

— Вот неожиданность! студент — и уж обручен! Она хороша собою, вы влюблены в нее?

— Да, она красавица, и я очень люблю ее.

— Она брюнетка или блондинка?

— Этого я не могу сказать. Это тайна.

— Ну, бог с нею, когда тайна. Но какую же тайну женщин она открыла вам, чтобы заставить вас избегать их общества?

— Она заметила, что я не люблю быть в дурном расположении духа, и шепнула мне такую их тайну, что я не могу видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение, — и потому я избегаю женщин.

— Вы не можете видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение духа? Однако вы не мастер говорить комплименты.

— Как же сказать иначе? Жалеть — значит быть в дурном расположении духа.

— Разве мы так жалки?

— Да разве вы не женщина? Мне стоит только сказать вам самое задушевное ваше желание — и вы согласитесь со мною. Это общее желание всех женщин.

— Скажите, скажите.

— Вот оно: «ах, как бы мне хотелось быть мужчиною!» Я не встречал женщины, у которой бы нельзя было найти эту задушевную тайну. А большею частью нечего и доискиваться ее — она прямо высказывается, даже без всякого вызова, как только женщина чем-нибудь расстроена, — тотчас же слышишь что-нибудь такое: «Бедные мы существа, женщины!» или: «мужчина совсем не то, что женщина», или даже и так, прямыми словами: «Ах, зачем я не мужчина!».

Верочка улыбнулась: правда, это можно слышать от всякой женщины.

— Вот видите, как жалки женщины, что если бы исполнилось задушевное желание каждой из них, то на свете не осталось бы ни одной женщины.

— Да, кажется так, — сказала Верочка.

— Все равно, как не осталось бы на свете ни одного бедного, если б исполнилось задушевное желание каждого бедного. Видите, как же не жалки женщины! Столько же жалки, как и бедные. Кому приятно видеть бедных? Вот точно так же неприятно мне видеть женщин с той поры, как я узнал их тайну. А она была мне открыта моею ревнивою невестою в самый день обручения. До той поры я очень любил бывать в обществе женщин; после того, — как рукою сняло. Невеста вылечила.

— Добрая и умная девушка ваша невеста; да, мы, женщины, — жалкие существа, бедные мы! — сказала Верочка: — только, кто же ваша невеста? вы говорите так загадочно.

— Это моя тайна, которой Федя не расскажет вам. Я совершенно разделяю желание бедных, чтоб их не было, и когда-нибудь это желание исполнится: ведь раньше или позже мы сумеем же устроить жизнь так, что не будет бедных; но...

— Не будет? — перебила Верочка: — я сама думала, что их не будет: но как их не будет, этого я не умела придумать — скажите, как?

— Этого я один не умею сказать; это умеет рассказывать только моя невеста; я здесь один, без нее, могу сказать только: она заботится об этом, а она очень сильная, она сильнее всех на свете. Но мы говорим не об ней, а об женщинах. Я совершенно согласен с желанием бедных, чтоб их не было на свете, потому что это и сделает моя невеста. Но я не согласен с желанием женщин, чтобы женщин не было на свете, потому что этому желанию нельзя исполниться: с тем, чему быть нельзя, я не соглашаюсь. Но у меня есть другое — желание: мне хотелось бы, чтобы женщины подружились с моею невестою, — она и о них заботится, как заботится о многом, обо всем. Если бы они подружились с нею, и у меня не было бы причины жалеть их, и у них исчезло бы желание: «Ах, зачем я не родилась мужчиною!». При знакомстве с нею и женщинам было бы не хуже, чем мужчинам.

— Мсье Лопухов! еще одну кадрили! непременно!

— Похвалю вас за это! — Он пожал ее руку, да так спокойно и серьезно, как будто он ее подруга или она его товарищ. — Которую же?

— Последнюю.

— Хорошо.

Марья Алексевна несколько раз шмыгала мимо них во время этой кадрили.

Что подумала Марья Алексевна о таком разговоре, если подслушала его? Мы, слышавшие его весь, с начала до конца, все скажем, что такой разговор во время кадрили — очень странен.

Пришла последняя кадрили.

— Мы все говорили обо мне, — начал Лопухов: — а ведь это очень нелюбезно с моей стороны, что я все говорил о себе. Теперь я хочу быть любезным, — говорить о вас! Вера Павловна. Знаете, я был о вас еще гораздо худшего мнения, чем вы обо мне. А теперь... ну, да это после. Но все-таки, я не умею отвечать себе на одно. Отвечайте вы мне. Скоро будет ваша свадьба?

— Никогда.

— Я так и думал, — в последние три часа, с той поры как вышел сюда из-за карточного стола. Но зачем же он считается женихом?

— Зачем он считается женихом? — зачем! — одного я не могу сказать вам, мне тяжело. А другое могу сказать: мне жаль его. Он так любит меня. Вы скажете: надобно высказать ему прямо, что я думаю о нашей свадьбе — я говорила; он отвечает: не говорите, это убивает меня, молчите.

— Это вторая причина, а первую, которую вы не можете сказать мне, я могу сказать вам: ваше положение в семействе ужасно.

— Теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит, — ждут и оставляют или почти оставляют одну.

— Но ведь это не может так продолжаться много времени. К вам начнут приставать. Что тогда?

— Ничего. Я думала об этом и решила. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисою. Какая это завидная жизнь! Независимость! Независимость!

— И аплодисменты.

— Да, и это приятно. Но главное — независимость! Делать, что хочу, — жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего ни от кого не требовать, ни в ком, ни в ком не нуждаться! Я так хочу жить!

— Это так, это хорошо! Теперь у меня к вам просьба: я узнаю, как это сделать, к кому

надобно обратиться, — да?

— Благодарю, — Верочка пожала ему руку. — Делайте это скорее: мне так хочется поскорее вырваться из этого гадкого, несносного, унижительного положения! Я говорю: «я спокойна, мне сносно» — разве это в самом деле так? Разве я не вижу, что делается моим именем? Разве я не знаю, как думают обо мне все, кто здесь есть? Интриганка, хитрит, хочет быть богата, хочет войти в светское общество, блистать, будет держать мужа под башмаком, вертеть им, обманывать его, — разве я не знаю, что все обо мне так думают? Не хочу так жить, не хочу! — Вдруг она задумалась. — Не смейтесь тому, что я скажу: ведь мне жаль его, — он так меня любит!

— Он вас любит? Так он на вас смотрит, как вот я, или нет? Такой у него взгляд?

— Вы смотрите прямо, просто. Нет, ваш взгляд меня не обижает.

— Видите, Вера Павловна, это оттого... Но все равно. А он так смотрит?

Верочка покраснела и молчала.

— Значит, он вас не любит. Это не любовь, Вера Павловна.

— Но... — Верочка не договорила и остановилась.

— Вы хотели сказать: но что ж это, если не любовь? Это пусть будет все равно. Но что это не любовь, вы сами скажете. Кого вы больше всех любите? — я говорю не про эту любовь, — но из родных, из подруг?

— Кажется, никого особенно. Из них никого сильно. Но нет, недавно мне встретила одна очень странная женщина. Она очень дурно говорила мне о себе, запретила мне продолжать знакомство с нею, — мы виделись по совершенно особенному случаю — сказала, что когда мне будет крайность, но такая, что оставалось бы только умереть, чтобы тогда я обратилась к ней, но иначе — никак. Ее я очень полюбила.

— Вы желаете, чтоб она сделала для вас что-нибудь такое, что ей неприятно или вредно?

Верочка улыбнулась.

— Как же это можно?

— Но нет, представьте, что вам очень, очень нужно было бы, чтоб она сделала для вас что-нибудь, и она сказала бы вам: «если я это сделаю, это будет мучить меня», — повторили бы вы ваше требование, стали ли бы настаивать?

— Скорее умерла бы.

— Вот, вы сами говорите, что это — любовь. Только эта любовь — просто чувство, а не страсть. А что же такое любовь-страсть? Чем отличается страсть от простого чувства? Силою. Значит, если при простом чувстве, слабом, слишком слабом перед страстью, любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите: «лучше умереть, чем быть причиной мученья для него»; если простое чувство так говорит, что же скажет страсть, которая в тысячу раз сильнее? Она скажет: «скорее умру, чем — не то что потребую, не то что попрошу, — а скорее, чем допущу, чтобы этот человек сделал для меня что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно; умру скорее, чем допущу, чтобы он для меня стал к чему-нибудь принуждать себя, в чем-нибудь стеснять себя». Вот такая страсть, которая говорит так, это — любовь. А если страсть не такая, то она страсть, но вовсе не любовь. Я сейчас уйду отсюда. Я все сказал, Вера Павловна.

Верочка пожала ему руку.

— До свиданья. Что ж вы не поздравите меня? Ведь нынче день моего рождения.

Лопухов посмотрел на нее.

— Может быть... может быть! Если вы не ошиблись, хорошо для меня.

V

«Как это так скоро, как это так неожиданно, — думает Верочка, одна в своей комнате, по окончании вечера: — в первый раз говорили и стали так близки! за полчаса вовсе не зная друг друга и через час видеть, что стали так близки! как это странно!»

Нет, это вовсе не странно, Верочка. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное, обижаемое существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. А вот что в самом деле странно, Верочка, — только не нам с тобою, — что ты так спокойна. Ведь думают, что любовь — тревожное чувство. А ты заснешь так тихо, как ребенок, и не будут ни смущать, ни волновать тебя никакие сны, — разве приснятся веселые детские игры, фанты, горелки или, может быть, танцы, только тоже веселые, беззаботные. Это другим странно, а ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно. Тревога в любви — не самая любовь, — тревога в ней что-нибудь не так, как следует быть, а сама она весела и беззаботна.

«Как это странно, — думает Верочка: — ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он говорит и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить, — откуда я это взяла? Или это было в книгах, которые я читала? Нет, там не то: там все это или с сомнениями, или с такими оговорками, и все это как будто что-то необыкновенное, невероятное. Как будто мечты, которые хороши, да только не сбудутся! А мне казалось, что это просто, проще всего, что это самое обыкновенное, без чего нельзя быть, что это верно все так будет, что это вернее всего! А ведь я думала, что это самые лучшие книги. Ведь вот Жорж Занд — такая добрая, благонравная, — а у ней все это только мечты! Или наши — нет, у наших уж вовсе ничего этого нет. Или у Диккенса — у него это есть, только он как будто этого не надеется; только желает, потому что добрый, а сам знает, что этому нельзя быть. Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно так сделать и что это непременно сделается, чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен. Да разве они этого не говорят? Нет, им только жалко, а они думают, что в самом деле так и останется, как теперь, — немного получше будет, а все так же. А того они не говорят, что я думала. Если бы они это говорили, я бы знала, что умные и добрые люди так думают; а то ведь мне все казалось, что это только я так думаю, потому что я глупенькая девочка, что кроме меня, глупенькой, никто так не думает, никто этого в самом деле не ждет. А вот он говорит, что его невеста растолковала всем, кто ее любит, что это именно все так будет, как мне казалось, и растолковала так понятно, что все они стали заботиться, чтоб это поскорее так было. Какая его невеста умная! Только, кто ж это она? Я узнаю, непременно узнаю. Да, вот хорошо будет, когда бедных не будет, никто никого принуждать не будет, все будут веселые, добрые, счастливые...»

И с этим Верочка заснула, и спала крепко, и ничего не видела во сне.

Нет, Верочка, это не странно, что передумала и приняла к сердцу все это ты, простенькая девочка, не слышавшая и фамилий-то тех людей, которые стали этому учить и доказали, что этому так надо быть, что это непременно так будет, что этого не может не быть; не странно, что ты поняла и приняла к сердцу эти мысли, которых не могли тебе ясно представить твои книги: твои книги писаны людьми, которые учились этим мыслям, когда они были еще мыслями; эти мысли казались удивительны, восхитительны, — и только. Теперь, Верочка, эти мысли уж ясно видны в жизни, и написаны другие книги, другими людьми, которые находят, что эти мысли хороши, но удивительного нет в них ничего, и теперь, Верочка, эти мысли носятся в воздухе, как аромат в полях, когда приходит пора цветов; они повсюду проникают, ты их слышала даже от твоей пьяной матери, говорившей тебе, что надобно жить и почему надобно жить обманом и обиранием; она хотела говорить против твоих мыслей, а сама развивала твои же мысли; ты их слышала от наглой, испорченной француженки, которая таскает за собою своего любовника, будто горничную, делает из него все, что хочет, и все-таки, лишь опомнится, находит, что она не имеет своей воли, должна угождать, принуждать себя, что это очень тяжело, — уж ей ли, кажется, не жить с ее Сергеем, и добрым, и деликатным, и мягким, — а она говорит все-таки: «и даже мне, такой дурной, такие отношения дурны». Теперь, Верочка, нетрудно набраться таких мыслей, какие у тебя. Но другие не принимают их к сердцу, а ты приняла — это хорошо, но тоже не странно: что ж странного, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком! Ведь это желание — не бог знает какое головоломное открытие, не бог знает какой подвиг

геройства.

А вот что странно, Верочка, что есть такие же люди, у которых нет этого желания, у которых совсем другие желания, и им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, о своей любви, ты перешла к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми, и что надобно помогать этому скорее прийти. А ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно, что это одно и натурально, одно и по-человечески; просто по-человечески; — «я чувствую радость и счастье» — значит «мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы» — по-человечески, Верочка, эти обе мысли одно. Ты добрая девушка: ты не глупая девушка; но ты меня извини, я ничего удивительного не нахожу в тебе; может быть, половина девушек, которых я знал и знаю, а может быть, и больше, чем половина, — я не считал, да и много их, что считать-то — не хуже тебя, а иные и лучше, ты меня прости.

Лопухову кажется, что ты удивительная девушка, это так; но это не удивительно, что это ему кажется, — ведь он полюбил тебя! И тут нет ничего удивительного, что полюбил: тебя можно полюбить: а если полюбил, так ему так и должно казаться.

VI

Марья Алексевна шмыгала мимо дочери и учителя во время первой их кадрили; но во время второй она не показывалась подле них, и вся была погружена в хлопоты хозяйки по приготовлению закуски вроде ужина. Кончив эти заботы, она справилась об учителе — учителя уже не было.

Через два дня учитель пришел на урок. Подали самовар, — это всегда приходилось во время урока. Марья Алексевна вышла в комнату, где учитель занимался с Федею; прежде звала Федю Матрена: учитель хотел остаться на своем месте, потому что ведь он не пьет чаю, и просмотрит в это время федину тетрадь, но Марья Алексевна просила его пожаловать посидеть с ними, ей нужно поговорить с ним. Он пошел, сел за чайный стол.

Марья Алексевна начала расспрашивать его о способностях Феде, о том, какая гимназия лучше, не лучше ли будет поместить мальчика в гимназический пансион, — расспросы очень натуральные, только не рано ли немножко делаются? Во время этого разговора она так усердно и любезно просила учителя выкушать чаю, что Лопухов согласился отступить от своего правила, взял стакан. Верочка долго не выходила, — вышла; она и учитель обменялись поклонами, будто ничего между ними не было, а Марья Алексевна все еще продолжала беседовать о Феде. Потом вдруг круто поворотила разговор на самого учителя и стала расспрашивать, кто он, что он, какие у него родственники, имеют ли состояние, как он живет, как думает жить; учитель отвечал коротко и неопределенно, что родственники есть, живут в провинции, люди небогатые, он сам живет уроками, останется медиком в Петербурге; словом сказать, из всего этого не выходило ничего. Видя такое упорство, Марья Алексевна приступила к делу прямее:

— Вот вы говорите, что останетесь здесь доктором; а здешним докторам, слава богу, можно жить: еще не думаете о семейной жизни, или имеете девушку на примете?

Что это? учитель уж и позабыл было про свою фантастическую невесту, хотел было сказать «не имею на примете», но вспомнил: «ах, да ведь она подслушивала!» Ему стало смешно, — ведь какую глупость тогда придумал! Как это я сочинил такую аллегоррию, да и вовсе не нужно было! Ну вот, подите же, говорят, пропаганда вредна — вон, как на нее подействовала пропаганда, когда у ней сердце чисто и не расположено к вредному; ну, подслушала и поняла, так мне какое дело?

— Как же, имею, — сказал Лопухов.

— И помолвлены или нет еще?

— Помолвлен.

— И формально помолвлены, или только так, между собою говорили?

— Формально помолвлен.

Бедная Марья Алексевна! Она слышала слова «моя невеста», — «ваша невеста» — «я ее очень люблю» — «она красавица», — и успокоилась насчет волокитства со стороны учителя; и вторую кадрили уже могла вполне отдать хлопотам о закуске вроде ужина. Но ей хотелось пообстоятельнее и поосновательнее узнать эту успокоительную историю. Она продолжала расспросы; ведь каждому приятны успокоительные разговоры, да и во всяком случае, любопытно, — ведь все любопытно. Учитель отвечал основательно, хотя, по своему правилу, кратко. — Хороша ли его невеста? — Необыкновенно. — Есть ли приданое? — теперь нет, но получает большое наследство. — Большое? — Очень большое. — Как велико? — Очень велико. — Тысяч до ста? — Гораздо больше. — А сколько же? — Да что об этом говорить, довольно того, что очень много. — В деньгах? — Есть и в деньгах. — Может быть, и в поместьях! — Да, есть и в поместьях. — Скоро? — Скоро. — А свадьба скоро ли? — Скоро. — Так и следует, Дмитрий Сергеич, куда еще не получила наследства, а то ведь от женихов отбою не будет. — Совершенная правда. — Да как это бог послал ему такое счастье, да как это не перехватили другие. — Да так; почти еще никто не знает, что она должна получить наследство. — А он проведаль? — Проведаль. — Да как же? — Да он, признаться сказать, давно проведывал, ну, нашел. — И верно разузнал? — еще бы, документы сам проверял. — Сам? — Сам. С того и начал. — С того и начал? — Разумеется, кто в своем уме, без документов шагу не делает. — Правда, Дмитрий Сергеич, не делает. Какое счастье-то! Верно за молитвы родительские! — Вероятно.

Учитель и прежде понравился Марье Алексевне тем, что не пьет чаю; по всему было видно, что он человек солидный, основательный; говорил он мало — тем лучше, не вертопрах; но что говорил, то говорил хорошо — особенно о деньгах; но с вечера третьего дня она увидела, что учитель даже очень хорошая находка, по совершенному препятствию к волокитству за девушками в семействах, где дает уроки: такое полное препятствие редко бывает у таких молодых людей. А теперь она была в полном удовольствии от него. В самом деле, какой солидный человек! И ведь не хвастался, что у него богатая невеста: каждое слово из него надобно было клещами вытягивать. И как пронюхивал-то — видно, давно уж думал подыскать богатую невесту, — и, поди, чать, как примазывался-то к ней! Ну, этот, можно сказать, умеет свои дела вести. И с документов прямо так и начал, да и говорит-то как! «без этого, говорит, нельзя, кто в своем уме» — редкой основательности молодой человек!

Верочка сначала едва удерживалась от слишком заметной улыбки, но постепенно ей стало казаться, — как это ей стало казаться? — нет, это не так, нет, это так! что Лопухов, хоть отвечал Марье Алексевне, но говорит не с Марьей Алексевною, а с нею, Верочкою, что над Марьей Алексевною он подшучивает, серьезно же и правду, и только правду, говорит одной ей, Верочке.

Казалось ли только так Верочке, или в самом деле так было, кто знает? Он знал, и она узнала; а нам, пожалуй, и не нужно знать; нам нужны только факты. А факт был тот, что Верочка, слушавшая Лопухова сначала улыбаясь, потом серьезно, думала, что он говорит не с Марьей Алексевною, а с нею, и не шутя, а правду, а Марья Алексевна, с самого начала слушавшая Лопухова серьезно, обратилась к Верочке и сказала: «друг мой, Верочка, что ты все такой буквой сидишь? Ты теперь с Дмитрием Сергеичем знакома, попросила бы его сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела!», и смысл этих слов был: «мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеич, и желаем, чтобы вы были близким знакомым нашего семейства; а ты, Верочка, не дичись Дмитрия Сергеича, я скажу Михаилу Иванычу, что уж у него есть невеста, и Михаил Иваныч тебя к нему не будет ревновать». — Это было для Верочки и для Дмитрия Сергеича, — он теперь уж и в мыслях Марьи Алексевны был не «учитель», а «Дмитрий Сергеич»; — а для самой Марьи Алексевны слова ее имели третий, самый натуральный и настоящий смысл: «надо его приласкать; знакомство может впоследствии пригодиться, когда будет богат, шельма»; это был общий смысл слов Марьи Алексевны для Марьи Алексевны, а кроме общего, был в них для нее и частный смысл: «приласкавши, стану ему говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить по целковому за урок». Вот сколько смыслов имели слова Марьи Алексевны. Дмитрий Сергеич сказал, что теперь он

кончит урок, а потом с удовольствием поиграет на фортепьяно.

VII

Много смыслов имели слова Марьи Алексевны и не меньше того имели они результатов. Со стороны частного смысла их для нее самой, то есть сбережения платы за уроки, Марья Алексевна достигла большего успеха, чем сама рассчитывала; когда через два урока она повела дело о том, что они люди небогатые, Дмитрий Сергеич стал торговаться, сильно торговался, долго не уступал, долго держался на трехрублевом (тогда еще были трехрублевые, т. е., если помните, монета в 75 к.); Марья Алексевна и сама не надеялась спустить ниже, но, сверх чаяния, успела сбить на 60 к. за урок. Повидимому, частный смысл ее слов, — надежда сбить плату, — противоречил ее же мнению о Дмитрие Сергеиче (не о Лопухове, а о Дмитрие Сергеиче), как об алчном пройдохе: с какой стати корыстолюбец будет поступаться в деньгах для нашей бедности? а если Дмитрий Сергеич поступился, то, по-настоящему, следовало бы ей разочароваться в нем, увидеть в нем человека легкомысленного и, следовательно, вредного. Конечно, этак она и рассудила бы в чужом деле. Но уж так устроен человек, что трудно ему судить о своих делах по общему правилу: охотник он делать исключения в свою пользу. Когда коллежский секретарь Иванов уверяет коллежского советника Ивана Иваныча, что предан ему душою и телом, Иван Иваныч знает по себе, что преданности душою и телом нельзя ждать ни от кого, а тем больше знает, что в частности Иванов пять раз продал отца родного за весьма сходную цену и тем даже превзошел его самого, Ивана Иваныча, который успел предать своего отца только три раза, а все-таки Иван Иваныч верит, что Иванов предан ему, то есть и не верит ему, а благоволит к нему за это, и хоть не верит, а дает ему дурачить себя, — значит, все-таки верит, хоть и не верит. Что прикажете делать с этим свойством человеческого сердца? Оно дурно, оно вредно; но Марья Алексевна не была, к сожалению, изъята от этого недостатка, которым страдают почти все корыстолюбцы, хитрецы и дрянные люди. От него есть избавление только в двух крайних сортах нравственного достоинства: или в том, когда человек уже трансцендентальный негодяй, восьмое чудо света плутовской виртуозности, вроде Али-паши Янинского, Джеззар-паши Сирийского, Мегемет-Али Египетского, которые проводили европейских дипломатов и (Джеззар) самого Наполеона Великого так легко, как детей, когда мошенничество выросло на человеке такою абсолютно прочною броней, сквозь которую нельзя пробраться ни до какой человеческой слабости: ни до амбиции, ни до честолюбия, ни до властолюбия, ни до самолюбия, ни до чего; но таких героев мошенничества чрезвычайно мало, почти что не попадается в европейских землях, где виртуозность негодяйства уже портится многими человеческими слабостями. Потому, если вам укажут хитреца и скажут: «вот этого человека никто не проведет» — смело ставьте 10 р. против 1 р., что вы, хоть вы человек и не хитрый, проведете этого хитреца, если только захотите, а еще смелее ставьте 100 р. против 1 р., что он сам себя на чем-нибудь водит за нос, ибо это обыкновеннейшая, всеобщая черта в характере у хитрецов, на чем-нибудь водить себя за нос. Уж на что, кажется, искусники были Луи-Филипп и Меттерних, а ведь как отлично вывели сами себя за нос из Парижа и Вены в места зланные и спокойные буколически наслаждаться картиною того, как там, в этих местах, Макар телят гоняет. А Наполеон I как был хитр, — гораздо хитрее их обоих, да еще при этак-то хитрости имел, говорят, гениальный ум, — а как мастерски провел себя за нос на Эльбу, да еще мало показалось, захотел подалее, и удалось, удалось так, что дотащил себя за нос до Св. Елены! А ведь как трудно-то было, — почти невозможно, — а сумел преодолеть все препятствия к достижению острова Св. Елены! Прочтите-ко «Историю кампании 1815 г.» Шарраса — даже умилительно то усердие и искусство, с каким он тащил тут себя за нос! Увы, и Марья Алексевна не была изъята от этой вредной склонности.

Мало людей, которым броней против обольщения служит законченная доскональность в обманывании других. Но зато многочисленны люди, которым надежно в этом отношении

служит простая честность сердца. По свидетельству всех Видоков и Ванек-Каинов, нет ничего труднее, как надуть честного, бесхитростного человека, если он имеет хоть несколько рассудка и житейского опыта. Неглупые честные люди в одиночку не обольщаются. Но у них есть другой, такой же вредный вид этой слабости: они подвержены повальному обольщению. Плут не может взять ни одного из них за нос; но носы всех их, как одной компании, постоянно готовы к услугам. А плуты, в одиночку слабые насчет независимости своих носов, компаниально не проводятся за нос. В этом вся тайна всемирной истории.

Но забираться нам во всемирную историю будет уж лишнее: занимаешься рассказом, так занимайся рассказом.

Первым результатом слов Марьи Алексевны было удешевление уроков. Другим результатом — то, что от удешевления учителя (то есть, уже не учителя, а Дмитрия Сергеича) Марья Алексевна еще больше утвердилась в хорошем мнении о нем, как о человеке основательном, дошла даже до убеждения, что разговоры с ним будут полезны для Верочки, склонят Верочку на венчанье с Михаилом Ивановичем — этот вывод был уже очень блистателен, и Марья Алексевна своим умом не дошла бы до него, но встретилось ей такое ясное доказательство, что нельзя было не заметить этой пользы для Верочки от влияния Дмитрия Сергеича. Как встретилось это доказательство, мы сейчас увидим.

Третий результат слов Марьи Алексевны был, разумеется, тот, что Верочка и Дмитрий Сергеич стали, с ее разрешения и поощрения, проводить вместе довольно много времени. Кончив урок часов в восемь, Лопухов оставался у Розальских еще часа два-три: игрывал в карты с матерью семейства, отцом семейства и женихом; говорил с ними; играл на фортепьяно, а Верочка пела, или Верочка играла, а он слушал; иногда и разговаривал с Верочкою, и Марья Алексевна не мешала, не косилась, хотя, конечно, не оставляла без надзора.

О, разумеется, не оставляла, потому что, хотя Дмитрий Сергеич и очень хороший молодой человек, но все же недаром говорится пословица: не клади плохо, не вводи вора в грех. А что Дмитрий Сергеич вор, — не в порицательном, а в похвальном смысле, — нет никакого сомнения: иначе, за что ж бы его и уважать и делать хорошим знакомым? Неужели с дураками знакомиться? Конечно, следует и с дураками, когда от них можно попользоваться. Но у Дмитрия Сергеича пока еще нет ничего; стало быть, с ним можно водить дружбу только за его достоинства, то есть за ум, то есть за основательность, расчетливость, умение вести свои дела. А если у всякого человека черт знает что на уме, то у такого умного человека и подавно. Стало быть, за Дмитрием Сергеичем надобно смотреть да смотреть. Марья Алексевна и смотрела очень прилежно. Но все наблюдения только подтверждали основательность и благонамеренность Дмитрия Сергеича. Например, по чему сейчас можно заметить амурные пашни? По заглядыванию за корсет. Вот Верочка играет, Дмитрий Сергеич стоит и слушает, а Марья Алексевна смотрит, не запускает ли он глаз за корсет, — нет, и не думает запускать! или иной раз вовсе не глядит на Верочку, а так куда-нибудь глядит, куда случится, или иной раз глядит на нее, так просто в лицо ей глядит, да так бесчувственно, что сейчас видно: смотрит на нее только из учтивости, а сам думает о невестинном приданом, — глаза у него не разгораются, как у Михаила Ивановича. Опять, в чем еще замечаются амурные дела? — в любовных словах: никаких любовных слов не слышно; да и говорят-то они между собою мало, — он больше говорит с Марьей Алексевною. Или вот: стал он приносить книги Верочке. Раз Верочка ушла к подруге, и Михаил Иванович тут сидел. Вот, Марья Алексевна взяла книги, принесла Михаилу Ивановичу.

— Посмотрите-ко, Михаил Иванович, французскую-то я сама почти что разобрала: «Гостиная» — значит, самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму.

— Нет. Марья Алексевна, это не «Гостиная», это *Destinee* — судьба.

— Какая же это судьба? роман, что ли, так называется, али оракул, толкование снов?

— А вот сейчас увидим, Марья Алексевна, из самой книги. — Михаил Иванович перевернул несколько листов. — Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексевна, — ученая книга.

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести.

— Да, все об этом, Марья Алексевна.

— Ну, а немецкая-то?

Михаил Иванович медленно прочел: «О религии, сочинение Людвига» — Людовика-четырнадцатого, Марья Алексевна, сочинение Людовика XIV; это был, Марья Алексевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел.

— Значит, о божественном?

— О божественном, Марья Алексевна.

— Это хорошо, Михаил Иванович; то-то я и знаю, что Дмитрий Сергеич солидный молодой человек, а все-таки нужен глаз да глаз за всяким человеком!

— Конечно, у него не то на уме, Марья Алексевна, а я все-таки очень вам благодарен, Марья Алексевна, за ваше наблюдение.

— Нельзя, наблюдаю, Михаил Иванович; такая уж обязанность матери, чтобы дочь в чистоте сохранить, и могу вам поручиться насчет Верочки. Только вот что я думаю, Михаил Иванович: король-то французский какой был веры?

— Католик, натурально.

— Так он там не в папскую ли веру обращает?

— Не думаю, Марья Алексевна. Если бы католический архиерей писал, он, точно, стал бы обращать в папскую веру. А король не станет этим заниматься: он как мудрый правитель и политик, и просто будет внушать благочестие.

Кажется, чего еще? Марья Алексевна не могла не видеть, что Михаил Иванович, при всем своем ограниченном уме, рассудил очень основательно; но все-таки вывела дело уже совершенно начистоту. Дня через два, через три она вдруг сказала Лопухову, играя с ним и Михаилом Ивановичем в преферанс:

— А что, Дмитрий Сергеич, я хочу у вас спросить: прошлого французского короля отец, того короля, на место которого нынешний Наполеон сел, велел в папскую веру креститься?

— Нет, не велел, Марья Алексевна.

— А хороша папская вера, Дмитрий Сергеич?

— Нет, Марья Алексевна, не хороша. А я семь в бубнах сыграю.

— Это я так, по любопытству спросила, Дмитрий Сергеич, как я женщина неученая, а знать интересно. А много вы ремизов-то списали, Дмитрий Сергеич!

— Нельзя, Марья Алексевна, тому нас в Академии учат. Медику нельзя не уметь играть.

Для Лопухова до сих пор остается загадкой, зачем Марье Алексевне понадобилось знать, велел ли Филипп Эгалите креститься в папскую веру.

Ну как после всего этого не было бы извинительно Марье Алексевне перестать утомлять себя неослабным надзором? И глаз не запускает за корсет, и лицо бесчувственное, и божественные книги дает читать, — кажется, довольно бы. Но нет, Марья Алексевна не удовлетворилась надзором, а устроила даже пробу, будто учила «логику», которую и я учил наизусть, говорящую: «наблюдение явлений, каковые происходят сами собою, должно быть поверяемо опытами, производимыми по обдуманному плану, для глубочайшего проникновения в тайны таковых отношений», — и устроила она эту пробу так, будто читала Саксона Грамматика, рассказывающего, как испытывали Гамлета в лесу девицею.

VIII

Гамлетовское испытание

Однажды Марья Алексевна сказала за чаем, что у нее разболелась голова; разлив чай и заперев сахарницу, ушла и улеглась. Вера и Лопухов остались сидеть в чайной комнате, подле спальни, куда ушла Марья Алексевна. Через несколько минут больная кликнула Федю. «Скажи сестре, что их разговор не дает мне уснуть; пусть уйдут куда подальше, чтоб

не мешали. Да скажи хорошенько, чтобы не обидеть Дмитрия Сергеича: видишь, он какой заботливый о тебе». Федя пошел и сказал, что маменька просит вот о чем. — «Пойдемте в мою комнату, Дмитрий Сергеич, — она далеко от спальни, там не будем мешать». Этого, разумеется, и ждала Марья Алексевна. Через четверть часа, она в одних чулках, без башмаков, подкралась к двери Верочкиной комнаты. Дверь была полуотворена; между дверью и косяком была такая славная щель, — Марья Алексевна приложила к ней глаз и наострила уши.

Увидела она следующее:

В Верочкиной комнате было два окна, между окон стоял письменный стол. У одного окна, с одного конца стола, сидела Верочка и вязала шерстяной нагрудник отцу, свято исполняя заказ Марьи Алексевны; у другого окна, с другого конца стола, сидел Лопухов; локтем одной руки оперся на стол, и в этой руке была сигара, а другая рука у него была засунута в карман; расстояние между ним и Верочкою было аршина два, если не больше. Верочка больше смотрела на свое вязанье; Лопухов больше смотрел на сигару. Диспозиция успокоительная.

Услышала она следующее:

— ...Надобно так смотреть на жизнь? — с этих слов начала слышать Марья Алексевна.

— Да, Вера Павловна, так надобно.

— Стало быть, правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет выгоды?

— Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, — все это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе, и в корне само состоит из того же стремления к пользе.

— Да вы, например, разве вы таков?

— А каков же, Вера Павловна? Вы послушайте, в чем существенная пружина всей моей жизни. Сущность моей жизни состояла до сих пор в том, что я учился, я готовился быть медиком. Прекрасно. Зачем отдал меня отец в гимназию? Он твердил мне: «учись, Митя: выучишься — чиновник будешь, нас с матерью кормить будешь, да и самому будет хорошо». Вот почему я учился; без этого расчета отец не отдал бы меня учиться: ведь семейству нужен был работник. Да и я сам, хотя полюбил ученье, стал ли бы тратить время на него, если бы не думал, что трата вознаградится с процентами? Я стал оканчивать курс в гимназии; убедил отца отпустить меня в Медицинскую академию, вместо того чтобы определять в чиновники. Как это произошло? Мы с отцом видели, что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и оставался в Академии — хороший кусок хлеба. Без этого расчета я не поступил бы в Академию и не оставался бы в ней.

— Но ведь вы любили учиться в гимназии, ведь вы полюбили потом медицинские науки?

— Да. Это украшение; оно и полезно для успеха дела; но дело обыкновенно бывает и без этого украшения, а без расчета не бывает. Любовь к науке была только результатом, возникавшим из дела, а не причиною его, причина была одна — выгода.

— Положим, вы правы, — да, вы правы. Все поступки, которые я могу разобрать, объясняются выгодою. Но ведь эта теория холодна.

— Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно.

— Но она беспощадна.

— К фантазиям, которые пусты и вредны.

— Но она прозаична.

— Для науки не годится стихотворная форма.

— Итак, эта теория, которой я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную?..

— Нет, Вера Павловна: эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она, — холодна, дрова — холодны, но от них

огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться — иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни. Почему Шекспир величайший поэт? Потому, что в нем больше правды жизни, меньше оболыщения, чем у других поэтов.

— Так буду и я беспощадна, Дмитрий Сергеич, — сказала Верочка, улыбаясь: — вы не оболыщайтесь мыслью, что имели во мне упорную противницу вашей теории расчета выгод и приобрели ей новую последовательницу. Я сама давно думала в том роде, как прочла в вашей книге и услышала от вас. Но я думала, что это мои личные мысли, что умные и ученые люди думают иначе, оттого и было колебанье. Все, что читаешь, бывало, — все написано в противоположном духе, наполнено порицаниями, сарказмами против того, что замечаешь в себе и других. Природа, жизнь, рассудок ведут в одну сторону, книги тянут в другую, говорят: это дурно, низко. Знаете, мне самой были отчасти смешны те возражения, которые я вам делала!

— Да, они смешны, Вера Павловна.

— Однако, — сказала она, смеясь: — мы делаем друг другу удивительные комплименты. Я вам: вы, Дмитрий Сергеич, пожалуйста, не слишком-то поднимайте нос; вы мне: вы смешны с вашими сомнениями, Вера Павловна!

— Что ж, — сказал он, тоже улыбнувшись, — нам нет расчета любезничать, потому мы любезничаем.

— Хорошо, Дмитрий Сергеич; люди — эгоисты, так ведь? Вот вы говорили о себе, — и я хочу поговорить о себе.

— Так и следует; каждый думает всего больше о себе.

— Хорошо. Посмотрим, не поймаю ли я вас на вопросах о себе.

— Посмотрим.

— У меня есть богатый жених. Он мне не нравится. Должна ли я принять его предложение?

— Рассчитывайте, что для вас полезнее.

— Что для меня полезнее! Вы знаете, я очень не богата. С одной стороны, нерасположение к человеку; с другой — господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников.

— Взвесьте все; что полезнее для вас, то и выбирайте.

— И если я выберу — богатство мужа и толпу поклонников?

— Я скажу, что вы выбрали то, что вам казалось сообразнее с вашим интересом.

— И что надобно будет сказать обо мне?

— Если вы поступили хладнокровно, рассудительно обдумав, то надобно будет сказать, что вы поступили обдуманно и, вероятно, не будете жалеть о том.

— Но будет мой выбор заслуживать порицания?

— Люди, говорящие разные пустяки, могут говорить о нем, как им угодно; люди, имеющие правильный взгляд на жизнь, скажут, что вы поступили так, как следовало вам поступить; если вы так сделали, значит, такова была ваша личность, что нельзя вам было поступить иначе при таких обстоятельствах, они скажут, что вы поступили по необходимости вещей, что, собственно говоря, вам и не было другого выбора.

— И никакого порицания моему поступку?

— Кто имеет право порицать выводы из факта, когда существует факт? Ваша личность в данной обстановке — факт; ваши поступки — необходимые выводы из этого факта, делаемые природою вещей. Вы за них не отвечаете, а порицать их — глупо.

— Однако вы не отступаете от своей теории. Так я не заслужу ваше порицание, если приму предложение моего жениха?

— Я был бы глуп, если бы стал порицать.

— Итак, разрешение, — быть может, даже одобрение, — быть может, даже прямой

совет поступить так, как я говорю?

— Совет всегда один: рассчитывайте, что для вас полезно; как скоро вы следуете этому совету — одобрение.

— Благодарю вас. Теперь мое личное дело разрешено. Вернемся к первому, общему вопросу. Мы начали с того, что человек действует по необходимости, его действия определяются влияниями, под которыми происходят; более сильные влияния берут верх над другими; тут мы и оставили рассуждение, что когда поступок имеет житейскую важность, эти побуждения называются выгодами, игра их в человеке — соображением выгод, что поэтому человек всегда действует по расчету выгод. Так я передаю связь мыслей?

— Так.

— Видите, какая я хорошая ученица. Теперь этот частный вопрос о поступках, имеющих житейскую важность, кончен. Но в общем вопросе остаются затруднения. Ваша книга говорит: человек действует по необходимости. Но ведь есть случаи, когда кажется, что от моего произвола зависит поступить так или иначе. Например: я играю и перевертываю страницы нот; я перевертываю их иногда левою рукою, иногда правою. Положим, теперь я перевернула правою: разве я не могла перевернуть левою? не зависит ли это от моего произвола?

— Нет, Вера Павловна; если вы перевертываете, не думая ничего о том, какою рукою перевернуть, вы перевертываете тою рукою, которою удобнее, произвола нет; если вы подумали: «дай переверну правою рукою» — вы перевернете под влиянием этой мысли, но эта мысль явилась не от вашего произвола; она необходимо родилась от других...

Но на этом слове Марья Алексевна уже прекратила свое слушание: «ну, теперь занялись ученостью, — не по моей части, да и не нужно. Какой умный, основательный, можно сказать, благородный молодой человек! Какие благоразумные правила внушает Верочке! И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается: не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить. А вот как он по-ученому-то говорит, она и слушает, и видит, что правда, и соглашается. Да, недаром говорится: ученье свет, неученье — тьма. Как бы я-то воспитанная женщина была, разве бы то было, что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по провиантской бы части место ему достала или по другой по какой по такой же. Ну, конечно, дела бы за него сама вела с подрядчиками-то: ему где — плох! Дом-то бы не такой состроила, как этот. Не одну бы тысячу душ купила. А теперь не могу. Тут надо прежде в генеральском обществе себя зарекомендовать, — а я как зарекомендую? — ни по-французски, ни по-каковски по-ихнему не умею. Скажут: манер не имеет, только на Сенной ругаться годится. Вот и не гожусь. Неученье — тьма. Подлинно: ученье свет, неученье — тьма».

Вот именно этот подслушанный разговор и привел Марью Алексевну к убеждению, что беседы с Дмитрием Сергеевичем не только не опасны для Верочки, — это она и прежде думала, — а даже принесут ей пользу, помогут ее заботам, чтобы Верочка бросила глупые неопытные девические мысли и поскорее покончила венчаньем дело с Михаилом Ивановичем.

IX

Отношения Марьи Алексевны к Лопухову походят на фарс, сама Марья Алексевна выставляется через них в смешном виде. То и другое решительно против моей воли. Если бы я хотел заботиться о том, что называется у нас художественностью, я скрыл бы отношения Марьи Алексевны к Лопухову, рассказ о которых придает этой части романа водевильный характер. Скрыть их было бы легко. Существенный ход дела мог быть объяснен и без них. Что удивительного было бы, что учитель и без дружбы с Марьею Алексевною имел бы случаи говорить иногда, хоть изредка, по несколько слов с девушкою, в семействе которой дает уроки? Разве много нужно слов, чтоб росла любовь? В содействии Марьи Алексевны вовсе не было нужды для той развязки, какую получила встреча Верочки с Лопуховым. Но я рассказываю дело не так, как нужно для доставления мне художнической репутации, а как

оно было. Я как романист очень огорчен тем, что написал несколько страниц, унижающихся до водевильности.

Мое намерение выставлять дело, как оно было, а не так, как мне удобнее было бы рассказывать его, делает мне и другую неприятность: я очень недоволен тем, что Марья Алексевна представляется в смешном виде с размышлениями своими о невесте, которую сочинила Лопухову, с такими же фантастическими отгадываниями содержания книг, которые давал Лопухов Верочке, с рассуждениями о том, не обращал ли людей в папскую веру Филипп Эгалите и какие сочинения писал Людовик XIV. Ошибаться может каждый, ошибки могут быть нелепы, если человек судит о вещах, чуждых его понятиям; но было бы несправедливо выводить из нелепых промахов Марьи Алексевны, что ее расположение к Лопухову основывалось лишь на этих вздорах: нет, никакие фантазии о богатой невесте и благочестии Филиппа Эгалите ни на минуту не затмили бы ее здравого смысла, если бы в действительных поступках и словах Лопухова было заметно для нее хотя что-нибудь подозрительное. Но он действительно держал себя так, как, по мнению Марьи Алексевны, мог держать себя только человек в ее собственном роде; ведь он молодой, бойкий человек, не запуская глаз за корсет очень хорошенькой девушки, не таскался за нею по следам, играл с Марьей Алексевною в карты без отговорок, не отзывался, что «лучше я посижу с Верою Павловною», рассуждал о вещах в духе, который казался Марье Алексевне ее собственным духом; подобно ей, он говорил, что все на свете делается для выгоды, что, когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт и вопиять о принципах чести, которые следовало бы соблюдать этому плуту, что и сам плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом, — не говоря уж о том, что это невозможно, — было бы нелепо, просто сказать глупо с его стороны. Да, Марья Алексевна была права, находя много родственного себе в Лопухове.

Я понимаю, как сильно компрометируется Лопухов в глазах просвещенной публики сочувствием Марьи Алексевны к его образу мыслей. Но я не хочу давать потачки никому и не прячу этого обстоятельства, столь вредного для репутации Лопухова, хоть и доказал, что мог утаить такую дурную сторону отношений Лопухова в семействе Розальских; я делаю даже больше: я сам принимаюсь объяснять, что он именно заслуживал благосклонность Марьи Алексевны.

Действительно, из разговора Лопухова с Верочкою обнаруживается, что образ его мыслей гораздо легче мог показаться хорош людям вроде Марьи Алексевны, чем красноречивым партизанам разных прекрасных идей. Лопухов видел вещи в тех самых чертах, в каких представляются они всей массе рода человеческого, кроме партизанов прекрасных идей. Если Марья Алексевна могла повторить с удовольствием от своего лица его внушения Верочке по вопросу о предложении Сторешникова, то и он мог бы с удовольствием подписать «правда» под ее пьяною исповедью Верочке. Сходство их понятий было так велико, что просвещенные и благородные романисты, журналисты и другие поучатели нашей публики давно провозгласили: «эти люди вроде Лопухова ничем не разнятся от людей вроде Марьи Алексевны». Если столь просвещенные и благородные писатели так поняли людей вроде Лопухова, то неужели мы будем осуждать Марью Алексевну за то, что она не рассмотрела в Лопухове ничего, кроме того, что поняли в людях его разряда лучшие наши писатели, мыслители и назидатели?

Конечно, если бы Марья Алексевна знала хотя половину того, что знают эти писатели, у ней достало бы ума сообразить, что Лопухов плохая компания для нее. Но, кроме того, что она была женщина неученая, она имеет и другое извинение своей ошибке: Лопухов не договаривался с нею до конца. Он был пропагандист, но не такой, как любители прекрасных идей, которые постоянно хлопочут о внушении Марьям Алексевнам благородных понятий, какими восхищены сами в себе. Он имел столько рассудительности, чтобы не выпрямлять 50-летнего дерева. Он и она понимали факты одинаково и толковали о них. Как человек, теоретически образованный, он мог делать из фактов выводы, которых не умели делать люди, подобные Марье Алексевне, не знающие ничего, кроме обыденных личных забот да

ходячих афоризмов простонародной общечеловеческой мудрости: пословиц, поговорок и тому подобных старых и старинных, древних и ветхих изречений. Но до выводов у них дело не доходило. Если бы, например, он стал объяснять, что такое «выгода», о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодою, но Лопухов не объяснял этого Марье Алексевне, а в разговоре с Верочкою также не было такого объяснения, потому что Верочка знала, каков смысл этого слова в тех книгах, по поводу которых они вели свой разговор. Конечно, и то правда, что, подписывая на пьяной исповеди Марьи Алексевны «правда», Лопухов прибавил бы: «а так как, по вашему собственному признанию, Марья Алексевна, новые порядки лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении тем людям, которые находят себе в том удовольствие; что же касается до глупости народа, которую вы считаете помехою заведению новых порядков, то, действительно, она помеха делу; но вы сами не будете спорить, Марья Алексевна, что люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть, в чем прежде не замечалась ими надобность; вы согласитесь также, что прежде и не было им возможности научиться уму-разуму, а доставьте им эту возможность, то, пожалуй, ведь они и воспользуются ею». Но до этого он не договаривался с Марьею Алексевною, и даже не по осторожности, хотя был осторожен, а просто по тому же внушению здравого смысла и приличия, по которому не говорил с нею на латинском языке и не утруждал ее слуха очень интересными для него самого рассуждениями о новейших успехах медицины: он имел настолько рассудка и деликатности, чтобы не мучить человека декламациями, непонятными для этого человека.

Но все это я говорю только в оправдание недосмотра Марьи Алексевны, не успевшей вовремя раскусить, что за человек Лопухов, а никак не в оправдание самому Лопухову. Лопухова оправдывать было бы нехорошо, а почему нехорошо, узишь ниже. Люди, которые, не оправдывая его, захотели бы, по человеколюбию своему, извинить его, не могли бы извинить. Например, они сказали бы в извинение ему, что он был медик и занимался естественными науками, а это располагает к материалистическому взгляду. Но такое извинение очень плохо. Мало ли какие науки располагают к такому же взгляду? — и математические, и исторические, и общественные, да и всякие другие. Но разве все геометры, астрономы, все историки, политико-экономы, юристы, публицисты и всякие другие ученые так уж и материалисты? Далеко нет. Стало быть, Лопухов не избавляется от своей вины. Сострадательные люди, не оправдывающие его, могли бы также сказать ему в извинение, что он не совершенно лишен некоторых похвальных признаков: сознательно и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такою работою — лучшая выгода для него; на девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он смотрел таким чистым взглядом, каким не всякий брат глядит на сестру; но против этого извинения его материализму надобно сказать, что ведь и вообще нет ни одного человека, который был бы совершенно без всяких признаков чего-нибудь хорошего, и что материалисты, каковы бы там они ни были, все-таки материалисты, а этим самым уже решено и доказано, что они люди низкие и безнравственные, которых извинять нельзя, потому что извинять их значило бы потворствовать материализму. Итак, не оправдывая Лопухова, извинить его нельзя. А оправдать его тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, объявившие материалистов людьми низкими и безнравственными, в последнее время так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера, в глазах всех порядочных людей, материалистов ли, или не материалистов, что защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным.

Х

Разумеется, главным содержанием разговоров Верочки с Лопуховым было не то, какой

образ мыслей надобно считать справедливым, но вообще они говорили между собою довольно мало, и длинные разговоры у них, бывавшие редко, шли только о предметах посторонних, вроде образа мыслей и тому подобных сюжетов. Ведь они знали, что за ними следят два очень зоркие глаза. Потому о главном предмете, их занимавшем, они обменивались лишь несколькими словами — обыкновенно в то время, как перебирали ноты для игры и пения. А этот главный предмет, занимавший так мало места в их не слишком частых длинных разговорах, и даже в коротких разговорах занимавший тоже лишь незаметное место, этот предмет был не их чувство друг к другу, — нет, о чувстве они не говорили ни слова после первых неопределенных слов в первом их разговоре на праздничном вечере: им некогда было об этом толковать; в две-три минуты, которые выбирались на обмен мыслями без боязни подслушивания, едва успевали они переговорить о другом предмете, который не оставлял им ни времени, ни охоты для объяснений в чувствах, — это были хлопоты и раздумья о том, когда и как удастся Верочке избавиться от ее страшного положения.

На следующее же утро после первого разговора с нею Лопухов уже разузнавал о том, как надобно приняться за дело о ее поступлении в актрисы. Он знал, что девушке представляется много неприятных опасностей на пути к сцене, но полагал, что при твердом характере может она пробиться прямою дорогою. Оказалось не так. Пришедши через два дня на урок, он должен был сказать Верочке: «советую вам оставить мысль о том, чтобы сделаться актрисою». — «Почему?» — «Потому, что уж лучше было бы вам идти за вашего жениха». На том разговор и прекратился. Это было сказано, когда он и Верочка брали ноты, он — чтобы играть, она — чтобы петь. Верочка повесила было голову и несколько раз сбивалась с такта, хотя пела пьесу очень знакомую. Когда пьеса кончилась и они стали говорить о том, какую выбрать теперь другую, Верочка уже сказала: «А это мне казалось самое лучшее. Тяжело было услышать, что это невозможно. Ну — труднее будет жить, а все-таки можно будет жить. Пойду в гувернантки».

Когда он опять был через два дня у них, она сказала:

— Я не могла найти, через кого бы мне искать места гувернантки. Похлопочите, Дмитрий Сергеич: кроме вас некому.

— Жаль, у меня мало знакомых, которые могли бы тут быть полезны. Семейства, в которых я даю или давал уроки, все люди небогатые, и их знакомые почти все такие же, но попробуем.

— Друг мой, я отнимаю у вас время, но как же быть.

— Вера Павловна, нечего говорить о моем времени, когда я ваш друг.

Верочка и улыбнулась, и покраснела: она сама не заметила, как имя «Дмитрий Сергеич» заменилось у ней именем «друга».

Лопухов тоже улыбнулся.

— Вы не хотели этого сказать, Вера Павловна, — отнимите у меня это имя, если жалеете, что дали его.

Верочка улыбнулась:

— Поздно, — и покраснела, — и не жалею, — и покраснела еще больше.

— Если будет надобно, то увидите, что верный друг.

Они пожали друг другу руки.

Вот вам и все первые два разговора после того вечера.

Через два дня в «Полицейских ведомостях» было напечатано объявление, что «благородная девица, говорящая по-французски и по-немецки и проч., ищет места гувернантки и что спросить о ней можно у чиновника такого-то, в Коломне, в NN улице, в доме NN».

Теперь Лопухову пришлось, действительно, тратить много времени по делу Верочки. Каждое утро он отправлялся, большею частью пешком, с Выборгской стороны в Коломну к своему знакомому, адрес которого был выставлен в объявлении. Путешествие было далекое;

но другого такого знакомого, поближе к Выборгской стороне, не нашлось; ведь надобно было, чтобы в знакомом соединялось много условий: порядочная квартира, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид. Бедная квартира поведет к предложению невыгодных условий гувернантке; без почтенности и видимой хорошей семейной жизни рекомендуемого лица не будут иметь выгодного мнения о рекомендуемой девушке. А своего адреса уж, конечно, никак не мог Лопухов выставить в объявлении: что подумали бы о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту! Таким образом Лопухов и делал порядочный моцион. Забрав у чиновника адреса являющихся искать гувернантку, он пускался продолжать путешествие: чиновник говорил, что он дальний родственник девушки, и только посредник, а есть у ней племянник, который завтра сам приедет переговорить пообстоятельнее. Племянник, вместо того чтобы приезжать, приходил, всматривался в людей и, разумеется, большею частию оставался недоволен обстановкою: в одном семействе слишком надменны; в другом — мать семейства хороша, отец дурак, в третьем наоборот, и т. д., в иных и можно бы жить, да условия невозможные для Верочки; или надобно говорить по-английски, — она не говорит; или хотят иметь собственно не гувернантку, а няньку, или люди всем хороши, кроме того, что сами бедны, и в квартире нет помещения для гувернантки, кроме детской, с двумя большими детьми, двумя малютками, нянькою и кормилицею. Но объявления продолжали являться в «Полицейских ведомостях», продолжали являться и ищущие гувернантки, и Лопухов не терял надежды.

В этих поисках прошло недели две. На пятый день поисков, когда Лопухов, возвратившись из хождений по Петербургу, лежал на своей кушетке, Кирсанов сказал:

— Дмитрий, ты стал плохим товарищем мне в работе. Пропадаешь каждый день на целое утро, и на половину дней пропадаешь по вечерам. Нахвтался уроков, что ли? Так время ли теперь набирать их? Я хочу бросить и те, которые у меня есть. У меня есть рублей 40 — достанет на три месяца до окончания курса. А у тебя было больше денег в запасе, кажется, рублей до сотни?

— Больше, до полутора. Да у меня не уроки: я их бросил все, кроме одного. У меня дело. Кончу его — не будешь на меня жаловаться, что отстаю от тебя в работе.

— Какое же?

— Видишь, на том уроке, которого я не бросил, семейство дрянное, а в нем есть порядочная девушка. Хочет быть гувернанткой, чтоб уйти от семейства. Вот я ищу для нее места.

— Хорошая девушка?

— Хорошая.

— Ну, это хорошо. Ищи. — Тем разговор и кончился.

Эх, господа Кирсанов и Лопухов, ученые вы люди, а не догадались, что особенно-то хорошо! Положим, и то хорошо, о чем вы говорили. Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собою девушка, Лопухов и не подумал упомянуть об этом. Кирсанов и не подумал сказать: «да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь». Лопухов и не подумал сказать: «а я, брат, очень ею заинтересовался», или, если не хотел говорить этого, то и не подумал заметить в предотвращение такой догадки: «ты не подумай, Александр, что я влюбился». Им, видите ли, обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения, то нимало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, а о влюбленности или невлюбленности тут нет и речи. Они даже и не подумали того, что думают это; а вот это-то и есть самое лучшее, что они и не замечали, что думают это.

А впрочем, не показывает ли это проницательному сорту читателей (большинству записных литературных людей показывает — ведь оно состоит из проницательнейших господ), не показывает ли это, говорю я, что Кирсанов и Лопухов были люди сухие, без эстетической жилки? Это было еще недавно модным выражением у эстетических литераторов с возвышенными стремлениями: «эстетическая жилка», может быть, и теперь

остается модным у них движением — не знаю, я давно их не видал. Натурально ли, чтобы молодые люди, если в них есть капля вкуса и хоть маленький кусочек сердца, не поинтересовались вопросом о лице, говоря про девушку? Конечно, это люди без художественного чувства (эстетической жилки). А по мнению других, изучавших натуру человека в кругах, еще более богатых эстетическим чувством, чем компания наших эстетических литераторов, молодые люди в таких случаях непременно потолкуют о женщине даже с самой пластической стороны. Оно так и было, да не теперь, господа; оно и теперь так бывает, да не в той части молодежи, которая одна и называется нынешней молодежью. Это, господа, странная молодежь.

XI

— Что, мой друг, все еще нет места?

— Нет еще, Вера Павловна; но не унывайте, найдется. Каждый день я бываю в двух, в трех семействах. Нельзя же, чтобы не нашлось, наконец, порядочное, в котором можно жить.

— Ах, но если бы вы знали, мой друг, как тяжело, тяжело мне оставаться здесь. Когда мне не представлялось близко возможности избавиться от этого унижения, этой гадости, я насильно держала себя в каком-то мертвом бесчувствии. Но теперь, мой друг, слишком душно в этом гнилом, гадком воздухе.

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!

В этом роде были разговоры с неделю. — Вторник:

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем.

— Друг мой, сколько хлопот вам, сколько потери времени! Чем я вознагражу вас?

— Вы вознаградите меня, мой друг, если не рассердитесь.

Лопухов сказал и смутился. Верочка посмотрела на него — нет, он не то что не договорил, он не думал продолжать, он ждет от нее ответа.

— Да за что же, мой друг, что вы сделали?

Лопухов еще больше смутился и как будто опечалился.

— Что с вами, мой друг?

— Да, вы и не заметили, — он сказал это так грустно, и потом засмеялся так весело. — Ах, боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, мой друг!

— Ну, что такое?

— Ничего. Вы уж наградили меня.

— Ах, вот что! Какой же вы чудак! — Ну, хорошо, зовите так.

В четверг было Гамлетовское испытание по Саксону Грамматику. После того на несколько дней Марья Алексевна дает себе некоторый (небольшой) отдых в надзоре.

Суббота. После чаю Марья Алексевна уходит считать белье, принесенное прачкою.

— Мой друг, дело, кажется, устроится.

— Да? — Если так... ах, боже мой... ах, боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится. Когда же и как?

— Решится завтра. Почти, почти несомненная надежда.

— Что же, как же?

— Держите себя смирно, мой друг: заметят! Вы чуть не прыгаете от радости. Ведь Марья Алексевна может сейчас войти за чем-нибудь.

— А сам хорош! Вошел, сияет, так что маменька долго смотрела на вас.

— Что ж, я ей сказал, отчего я весел, я заметил, что надобно было ей сказать, я так и сказал: «я нашел отличное место».

— Несносный, несносный! Вы занимаетесь предостережениями мне и до сих пор ничего не сказали. Что же, говорите, наконец.

— Нынче поутру Кирсанов, — вы знаете, мой друг, фамилия моего товарища Кирсанов...

— Знаю, несносный, несносный, знаю! Говорите же скорее, без этих глупостей.

— Сами мешаете, мой друг!

— Ах, боже мой! И все замечания, вместо того чтобы говорить дело. Я не знаю, что я с вами сделала бы — я вас на колени поставлю: здесь нельзя, — велю вам стать на колени на вашей квартире, когда вы вернетесь домой, и чтобы ваш Кирсанов смотрел и прислал мне записку, что вы стояли на коленях, — слышите, что я с вами сделаю?

— Хорошо, я буду стоять на коленях. А теперь молчу. Когда исполню наказание, буду прощен, тогда и буду говорить.

— Прощаю, только говорите, несносный.

— Благодарю вас. Вы прощаете, Вера Павловна, когда сами виноваты. Сами все перебивали.

— Вера Павловна? Это что? А ваш друг где же?

— Да, это был выговор, мой друг. Я человек обидчивый и суровый.

— Выговоры? Вы смеете давать мне выговоры? Я не хочу вас слушать.

— Не хотите?

— Конечно, не хочу! Что мне еще слушать? Ведь вы уж все сказали; что дело почти кончено, что завтра оно решится, — видите, мой друг, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свиданья, мой друг!

— Да послушайте, мой друг... Друг мой, послушайте же?

— Не слушаю и ухожу. — Вернулась. — Говорите скорее, не буду перебивать. Ах, боже мой, если б вы знали, как вы меня обрадовали! Дайте вашу руку. Видите, как крепко, крепко жму.

— А слезы на глазах зачем?

— Благодарю вас, благодарю вас.

— Нынче поутру Кирсанов дал мне адрес дамы, которая назначила мне завтра быть у нее. Я лично незнаком с нею, но очень много слышал о ней от нашего общего знакомого, который и был посредником. Мужа ее знаю я сам, — мы виделись у этого моего знакомого много раз. Судя по всему этому, я уверен, что в ее семействе можно жить. А она, когда давала адрес моему знакомому, для передачи мне, сказала, что уверена, что сойдется со мною в условиях. Стало быть, мой друг, дело можно считать почти совершенно конченным.

— Ах, как это будет хорошо! Какая радость! — твердила Верочка. — Но я хочу знать это скорее, как можно скорее. Вы от нее проедете прямо к нам?

— Нет, мой друг, это возбудит подозрения. Ведь я бываю у вас только для уроков. Мы сделаем вот что. Я пришлю по городской почте письмо к Марье Алексевне, что не могу быть на уроке во вторник и переносу его на среду. Если будет написано: на среду утро — значит, дело состоялось; на среду вечер — неудача. Но почти несомненно «на утро». Марья Алексевна это расскажет и Феде, и вам, и Павлу Константинычу.

— Когда же придет письмо?

— Вечером.

— Как долго! Нет, у меня не достанет терпенья. И что ж я узнаю из письма? Только «да» — и потом ждать до среды! Это мученье! Если «да», я как можно скорее уеду к этой даме. Я хочу знать тотчас же. Как же это сделать? Я сделаю вот что: я буду ждать вас на улице, когда вы пойдете от этой дамы.

— Друг мой, да это было бы еще неосторожнее, чем мне приехать к вам. Нет, уже лучше я приеду.

— Нет, здесь, может быть, нельзя было б и говорить. И, во всяком случае, маменька стала бы подозревать. Нет, лучше так, как я вздумала. У меня есть такой густой вуаль, что никто не узнает.

— А что же, и в самом деле, кажется, это можно. Дайте подумать.

— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама?

— В Галерной, подле моста.

— Во сколько часов вы будете у нее?

— Она назначила в двенадцать.

— С двенадцати я буду сидеть на Конногвардейском бульваре, на последней скамье того конца, который ближе к мосту. Я сказала, что на мне будет густой вуаль. Но вот вам примета: я буду держать в руке сверток нот. Если меня еще не будет, значит, меня задержали... Но вы садитесь на эту скамью и ждите. Я могу опоздать, но буду непременно. Как я хорошо придумала! Как я вам благодарна! Как я буду счастлива! Что ваша невеста, Дмитрий Сергеич? Вы уж разжалованы из друзей в Дмитрия Сергеича. Как я рада, как я рада! — Верочка побежала к фортепьяно и начала играть.

— Друг мой, какое унижение искусства! Какая порча вашего вкуса! Оперы брошены для галопов!

— Брошены, брошены!

Через несколько минут вошла Марья Алексевна. Дмитрий Сергеич поиграл с нею в преферанс вдвоем, сначала выигрывал, потом дал отыграться, даже проиграл 35 копеек, — это в первый раз снабдил он ее торжеством и, уходя, оставил ее очень довольною, — не деньгами, а собственно торжеством: есть чисто идеальные радости у самых погрязших в материализме сердец, чем и доказывается, что материалистическое объяснение жизни неудовлетворительно.

ХП

Первый сон Верочки

В снится Верочке сон.

Снится ей, что она заперта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь растворилась, и Верочка очутилась в поле, бегаёт, резвится и думает: «как же это я могла не умереть в подвале?» — «это потому, что я не видала поля; если бы я видала его, я бы умерла в подвале», — и опять бегаёт, резвится. Снится ей, что она разбита параличом, и она думает: «как же это я разбита параличом? Это бывают разбиты старики, старухи, а молодые девушки не бывают». — «бывают, часто бывают, — говорит чей-то незнакомый голос, — а ты теперь будешь здорова, вот только я коснусь твоей руки, — видишь, ты уж и здорова, вставай же». — Кто ж это говорит? — А как стало легко! — вся болезнь прошла, — и Верочка встала, идет, бежит, и опять на поле, и опять резвится, бегаёт, и опять думает: «как же это я могла переносить паралич?» — «это потому, что я родилась в параличе, не знала, как ходят и бегают; а если б знала, не перенесла бы», — и бегаёт, резвится. А вот идет по полю девушка, — как странно! — и лицо, и походка, все меняется, беспрестанно меняется в ней; вот она англичанка, француженка, вот она уж немка, полячка, вот стала и русская, опять англичанка, опять немка, опять русская, — как же это у ней все одно лицо? Ведь англичанка не похожа на француженку, немка на русскую, а у ней и меняется лицо, и все одно лицо, — какая странная! И выражение лица беспрестанно меняется: какая кроткая! какая сердитая! вот печальная, вот веселая, — все меняется! а все добрая, — как же это, и когда сердитая, все добрая? но только, какая же она красавица! как ни меняется лицо, с каждою переменою все лучше, все лучше. Подходит к Верочке. — «Ты кто?» — «Он прежде звал меня: Вера Павловна, а теперь зовет: мой друг». — «А, так это ты, та Верочка, которая меня полюбила?» — «Да, я вас очень люблю. Только кто же вы?» — «Я невеста твоего жениха». — «Какого жениха?» — «Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а мне нельзя их знать: у меня их много. Ты кого-нибудь из них выбери себе в женихи, только из них, из моих женихов». — «Я выбрала...» — «Имени мне не нужно, я их не знаю. Но только выбирай из них, из моих женихов. Я хочу, чтоб мои сестры и женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом?» — «Была». — «Теперь избавилась?» — «Да». — «Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь?» — «Буду. Только как же вас зовут? мне так хочется знать». — «У меня много имен. У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть мое настоящее имя. Меня немногие так зовут. А ты зови так». — И Верочка идет по городу: вот подвал, — в

подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку, — замок слетел: «идите» — они выходят. Вот комната, — в комнате лежат девушки, разбиты параличом: «вставайте» — они встают, идут, и все они опять на поле, бегают, резвятся, — ах, как весело! с ними вместе гораздо веселее, чем одной! Ах, как весело!

ХІІІ

В последнее время Лопухову некогда было видеться с своими академическими знакомыми. Кирсанов, продолжавший видеться с ними, на вопросы о Лопухове отвечал, что у него, между прочим, вот какая забота, и один из их общих приятелей, как мы знаем, дал ему адрес дамы, к которой теперь отправлялся Лопухов.

«Как отлично устроится, если это будет так, — думал Лопухов по дороге к ней: — через два, много через два с половиною года, я буду иметь кафедру. Тогда можно будет жить. А пока она проживет спокойно у Б., - если только Б. действительно хорошая женщина, — да в этом нельзя и сомневаться».

Действительно, Лопухов нашел в г-же Б. женщину умную, добрую, без претензий, хотя по службе мужа, по своему состоянию, родству она бы иметь большие претензия. Ее условия были хороши, семейная обстановка для Верочки очень покойна, — все оказалось отлично, как и ждал Лопухов. Г-жа Б. также находила удовлетворительными ответы Лопухова о характере Верочки; дело быстро шло на лад, и, потолковав полчаса, г-жа Б. сказала, что «если ваша молоденькая тетушка будет согласна на мои условия, прошу ее переселяться ко мне, и чем скорее, тем приятнее для меня».

— Она согласна; она уполномочила меня согласиться за нее. Но теперь, когда мы решили, я должен сказать вам то, о чем напрасно было бы говорить прежде, чем сошлись мы. Эта девушка мне не родственница. Она дочь чиновника, у которого я даю уроки. Кроме меня, она не имела человека, которому могла бы поручить хлопоты. Но я совершенно посторонний человек ей.

— Я это знала, мсье Лопухов. Вы, профессор N (она назвала фамилию знакомого, через которого получен был адрес) и ваш товарищ, говоривший с ним о вашем деле, знаете друг друга за людей достаточно чистых, чтобы вам можно было говорить между собою о дружбе одного из вас с молодой девушкой, не компрометируя эту девушку во мнении других двух. А N такого же мнения обо мне, и, зная, что я ищу гувернантку, он почел себя вправе сказать мне, что эта девушка не родственница вам. Не порицайте его за нескромность, — он очень хорошо знает меня. Я тоже честный человек, мсье Лопухов, и поверьте, я понимаю кого можно уважать. Я верю N столько же, как сама себе, а N вам столько же, как сам себе. Но N не знал ее имени, теперь, кажется, я могу уже спросить его, ведь мы кончили, и нынче-завтра она войдет в наше семейство.

— Ее зовут Вера Павловна Розальская.

— Теперь еще объяснение с моей стороны. Вам может казаться странным, что я, при своей заботливости о детях, решила кончить дело с вами, не видев ту, которая будет иметь такое близкое отношение к моим детям. Но я очень, очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что, если один из вас принимает такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть редкой находкой для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр мне казался совершенно излишнею неделикатностью. Я говорю комплимент не вам, а себе.

— Я очень рад теперь за m-lle Розальскую. Ее домашняя жизнь была так тяжела, что она чувствовала бы себя очень счастливою во всяком сносном семействе. Но я не мечтал, чтобы нашлась для нее такая действительно хорошая жизнь, какую она будет иметь у вас.

— Да, N говорил мне, что ей было дурно жить в семействе.

— Очень дурно. — Лопухов стал рассказывать то, что нужно было знать г-же Б., чтобы в разговорах с Верою избегать предметов, которые напоминали бы девушке ее прошлые неприятности. Г-жа Б. слушала с участием, наконец, пожалала руку Лопухову:

— Нет, довольно, мсье Лопухов, или я расчувствуюсь, а в мои лета, — ведь мне под 40, - было бы смешно показать, что я до сих пор не могу равнодушно слушать о семейном тиранстве, от которого сама терпела в молодости.

— Позвольте же сказать еще только одно; это так неважно для вас, что, может быть, и не было бы надобности говорить. Но все-таки лучше предупредить. Теперь она бежит от жениха, которого ей навязывает мать.

Г-жа Б. задумалась. Лопухов смотрел, смотрел на нее и тоже задумался.

— Если не ошибаюсь, это обстоятельство не кажется для вас таким мало важным, каким представлялось мне?

Г-жа Б. казалась совершенно расстроенною.

— Простите меня, — продолжал он, видя, что она совершенно растерялась: — простите меня, но я вижу, что это вас затрудняет.

— Да, это дело очень серьезное, мсье Лопухов. Уехать из дома против воли родных, — это, конечно, уже значит вызывать сильную ссору. Но это, как я вам говорила, было бы еще ничего. Если бы она бежала только от грубости и тиранства их, с ними было бы можно уладить так или иначе, — в крайнем случае, несколько лишних денег, и они удовлетворены. Это ничего. Но... такая мать навязывает ей жениха; значит, жених богатый, очень выгодный.

— Конечно, — сказал Лопухов совершенно унылым тоном.

— Конечно, мсье Лопухов, конечно, богатый; вот это-то меня и смутило. Ведь в таком случае мать не может быть примирена ничем. А вы знаете права родителей! В этом случае они воспользуются ими вполне. Они начнут процесс и поведут его до конца.

Лопухов встал.

— Итак, мне остается просить вас, чтобы то, что было говорено мною, было забыто вами.

— Нет, останьтесь. Дайте же мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами. Боже мой, как дурна должна я казаться в ваших глазах? То, что должно заставлять каждого порядочного человека сочувствовать, защищать, — это самое останавливает меня. О, какие мы жалкие люди!

На нее в самом деле было жалко смотреть: она не прикидывалась. Ей было в самом деле больно. Довольно долго ее слова были бессвязны, — так она была сконфужена за себя; потом мысли ее пришли в порядок, но и бессвязные, и в порядке, они уже не говорили Лопухову ничего нового. Да и сам он был также расстроен. Он был так занят открытием, которое она сделала ему, что не мог заниматься ее объяснениями по случаю этого открытия. Давши ей наговориться вволю, он сказал:

— Все, что вы говорили в свое извинение, было напрасно. Я обязан был оставаться, чтобы не быть грубым, не заставить вас подумать, что я виню или сержусь. Но, признаюсь вам, я не слушал вас. О, если бы я не знал, что вы правы! Да, как это было бы хорошо, если бы вы не были правы. Я сказал бы ей, что мы не сошлись в условиях или что вы не понравились мне! — и только, и мы с нею стали бы надеяться встретить другой случай избавления. А теперь, что я ей скажу?

Г-жа Б. плакала.

— Что я ей скажу? — повторял Лопухов, сходя с лестницы. — Как же это ей быть? Как же это ей быть? — думал он, выходя из Галерной в улицу, которая ведет на Конногвардейский бульвар.

* * *

Разумеется, г-жа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою. При ее положении в обществе, при довольно важных должностных связях ее мужа, очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уж непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексевна не могла бы ни вырвать Верочку из ее рук, ни сделать серьезных неприятностей

ни ей, ни ее мужу, который был бы официальным ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки г-же Б. пришлось бы иметь довольно хлопот, быть может, и некоторые неприятные разговоры; надобно было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и какой благоразумный человек захочет поступать не так, как г-жа Б.? мы несколько не вправе осуждать ее; да и Лопухов не был неправ, отчаявшись за избавление Верочки.

XIV

А Верочка давно, давно сидела на условленной скамье, и сколько раз начинало быстро, быстро биться ее сердце, когда из-за угла показывалась военная фуражка. — Наконец-то! он! друг! — Она вскочила, побежала навстречу.

Быть может, он и прибодрился бы, подходя к скамье, но, застигнутый врасплох, раньше чем ждал показать ей свою фигуру, он был застигнут с пасмурным лицом.

— Неудача?

— Неудача, мой друг.

— Да ведь это было так верно? Как же неудача? Отчего же, мой друг?

— Пойдемте домой, мой друг, я вас провожу. Поговорим. Я через несколько минут скажу, в чем неудача. А теперь дайте подумать. Я все еще не собрался с мыслями. Надобно придумать что-нибудь новое. Не будем унывать, придумаем. — Он уже прибодрился на последних словах, но очень плохо.

— Скажите сейчас, ведь ждать невыносимо. Вы говорите: придумать что-нибудь новое — значит то, что мы прежде придумали, вовсе не годится? Мне нельзя быть гувернанткой? Бедная я, несчастная я!

— Что вас обманывать? Да, нельзя. Я это хотел сказать вам. Но — терпение, терпение, мой друг! Будьте тверды! Кто тверд, добьется удачи.

— Ах, мой друг, я тверда, но как тяжело.

Они шли несколько минут молча.

— Что это? да, она что-то несет в руке под пальто.

— Друг мой, вы несете что-то, — дайте, я возьму.

— Нет, нет, не нужно. Это не тяжело. Ничего.

Опять идут молча. Долго идут.

— А ведь я до двух часов не спала от радости, мой друг. А когда я уснула, какой сон видела! Будто я освобождаюсь из душного подвала, будто я была в параличе и выздоровела, и выбежала в поле, и со мной выбежало много подруг, тоже, как я, вырвавшихся из подвалов, выздоровевших от паралича, и нам было так весело, так весело бегать по просторному полю! Не сбывся сон! А я думала, что уж не ворочусь домой.

— Друг мой, дайте же, я возьму ваш узелок, ведь теперь он уж не секрет.

Опять идут молча. Долго идут и молчат.

— Друг мой, видите, до чего мы договорились с этой дамой: вам нельзя уйти из дому без воли Марьи Алексевны. Это нельзя — нет, нет, пойдем под руку, а то я боюсь за вас.

— Нет, ничего, только мне душно под этим вуалем.

Она отбросила вуаль. — Теперь ничего, хорошо.

— («Как бледна!») Нет, мой друг, вы не думайте того, что я сказал. Я не так сказал. Все устроим как-нибудь.

— Как устроим, мой милый? это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего нельзя сделать.

Он молчит. Опять идут молча.

— («Как бледна! как бледна!») Мой друг, есть одно средство. — Какое, мой милый? — Я вам скажу, мой друг, но только, когда вы несколько успокоитесь. Об этом надобно будет вам рассудить хладнокровно.

— Говорите сейчас! Я не успокоюсь, пока не услышу.

— Нет; теперь вы слишком взволнованы, мой друг. Теперь вы не можете принимать важных решений. Через несколько времени. Скоро. Вот подъезд. До свиданья, мой друг. Как только увижу, что вы будете отвечать хладнокровно, я вам скажу.

— Когда же?

— Послезавтра на уроке.

— Слишком долго!

— Нарочно буду завтра.

— Нет, скорее!

— Нынче вечером.

— Нет, я вас не отпущу. Идите со мною. Я не спокойна, вы говорите; я не могу судить, вы говорите, — хорошо, пообедайте у нас. Вы увидите, что я буду спокойна. После обеда маменька спит, и мы можем говорить.

— Но как же я войду к вам? Если мы войдем вместе, ваша маменька будет опять подозревать.

— Подозревать! — что мне! Нет, мой друг, и для этого вам лучше уж войти. Ведь я шла с поднятым вуалем, нас могли видеть.

— Ваша правда.

XV

Марья Алексевна очень удивилась, увидев дочь и Лопухова входящими вместе. Самыми пристальными глазами принялась она всматриваться в них.

— Я зашел к вам, Марья Алексевна, сказать, что послезавтра вечер у меня занят, и я вместо того приду па урок завтра. Позвольте мне сесть. Я очень устал и расстроен. Мне хочется отдохнуть.

— В самом деле, что с вами, Дмитрий Сергеич? Вы ужасно пасмурны.

С амурных дел они, или так встречались? Как бы с амурных дел, он бы был веселый. А ежели бы в амурных делах они поссорились, по ее несоответствию на его желание, тогда бы, точно, он был сердитый, только тогда они ведь поссорились бы, — не стал бы ее провожать. И опять она прошла прямо в свою комнату и на него не поглядела, а ссоры незаметно, — нет, видно, так встретились. А черт их знает, надо глядеть в оба.

— Я-то ничего особенного, Марья Алексевна, а вот Вера Павловна как будто бледна, — или мне так показалось?

— Верочка-то? С ней бывает.

— А может быть, мне только так показалось. У меня, признаюсь вам, от всех мыслей голова кругом идет.

— Да что же такое, Дмитрий Сергеич? Уж не с невестой ли какая размолвка?

— Нет, Марья Алексевна, невестой я доволен. А вот с родными хочу ссориться.

— Что это вы, батюшка? Дмитрий Сергеич, как это можно с родными ссориться? Я об вас, батюшка, не так думала.

— Да нельзя, Марья Алексевна, такое семейство-то. Требуют от человека бог знает чего, чего он не в силах сделать.

— Это другое дело, Дмитрий Сергеич, — всех не наградишь, надо меру знать, это точно. Ежели так, то есть по деньгам ссора, не могу вас осуждать.

— Позвольте мне быть невежею, Марья Алексевна: я так расстроен, что надобно мне отдохнуть в приятном и уважаемом мною обществе; а такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Позвольте мне напроситься обедать у вас нынче и позвольте сделать некоторые поручения вашей Матрене. Кажется, тут есть недалеко погреб Денкера, у него вино не бог знает какое, но хорошее.

Лицо Марьи Алексевны, сильно разъярившееся при первом слове про обед, сложило с себя решительный гнев при упоминании о Матрене и приняло выжидающий вид: — «посмотрим, голубчик, что-то приложишь от себя к обеду? — у Денкера, — видно, что-

нибудь хорошее!» Но голубчик, вовсе не смотря на ее лицо, уже вынул портсигар, оторвал клочок бумаги от завалывшегося в нем письма, вынул карандаш и писал.

— Если смею спросить, Марья Алексевна, вы какое вино кушаете?

— Я, батюшка Дмитрий Сергеич, признаться вам сказать, мало знаю толку в вине, почти что и не пью: не женское дело.

«Оно и по роже с первого взгляда было видно, что не пьешь».

— Конечно, так, Марья Алексевна, но мараскин пьют даже девицы. Мне позвольте Написать?

— Это что такое, Дмитрий Сергеич?

— Просто, не вино даже, можно сказать, а сироп. — Он вынул красненькую бумажку. — Кажется, будет довольно? — он повел глазами по записке — на всякий случай, дам еще 5 рублей.

Доход за три недели, содержание на месяц. Но нельзя иначе, надо хорошую взятку Марье Алексевне.

У Марьи Алексевны глаза покрылись влагою, и лицом неудержимо овладела сладостнейшая улыбка.

— У вас есть и кондитерская недалеко? Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов, — на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексевна; но если нет такого, — какой есть, не взыщите.

Он отправился в кухню и послал Матрену делать покупки.

— Кутнем ныне, Марья Алексевна. Хочу пропить ссору с родными. Почему не кутнуть, Марья Алексевна? Дело с невестой на лад идет. Тогда не так заживем, — весело заживем, — правда, Марья Алексевна?

— Правда, батюшка Дмитрий Сергеич. То-то, я смотрю, что-то уж вы деньгами-то больно сорите, чего я от вас не ждала, как от человека основательного. Видно, от невесты задаточек получили?

— Задаточка не получил, Марья Алексевна, а если деньги завелись, то кутнуть можно. Что задаточек? Тут не в задаточке дело. Что задаточками-то пробавляться? Дело надо начистоту вести, а то еще подозренье будет. Да и неблагородно, Марья Алексевна.

— Неблагородно, Дмитрий Сергеич, точно, неблагородно. По-моему, надо во всем благородство соблюдать.

— Правда ваша, Марья Алексевна.

С полчаса или с три четверти часа, остававшиеся до обеда, шел самый любезный разговор в этом роде о всяких благородных предметах. Тут Дмитрий Сергеич, между прочим, высказал в порыве откровенности, что его женитьба сильно приблизилась в это время. — А как свадьба Веры Павловны? — Марья Алексевна ничего не может сказать, потому что не принуждает дочь. — Конечно; но, по его замечанию, Вера Павловна скоро решится на замужество; она ему ничего не говорила, только ведь у него глаза-то есть. — Ведь мы с вами, Марья Алексевна, старые воробьи, нас на мякине не проведешь. Мне хоть лет немного, а я тоже старый воробей, тертый калач, так ли, Марья Алексевна?

— Так, батюшка, тертый калач, тертый калач!

Словом сказать, приятная беседа по душе с Марьею Алексевною так оживила Дмитрия Сергеича, что куда девалась его грусть! он был такой веселый, каким его Марья Алексевна еще никогда не видывала. — Тонкая бестия, шельма этакий! схапал у невесты уж не одну тысячу, — а родные-то проведали, что он карман-то понабил, да и приступили; а он им: нет, батюшка и матушка, как сын, я вас готов уважать, а денег у меня для вас нет. Экая шельма-то какая! — Приятно беседовать с таким человеком, особенно, когда, услышав, что Матрена вернулась, сбегает на кухню, сказав, что идешь в свою спальную за носовым платком, и увидишь, что вина куплено на 12 р. 50 коп., - ведь только третью долю выпьем за обедом, — и кондитерский пирог в 1 р. 50 коп., - ну, это, можно сказать, брошенные деньги, на пирог-то! но все же останется и пирог: можно будет кумам подать вместо варенья, все же не в убыток, а в сбереженье.

XVI

А Верочка сидит в своей комнате.

«Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти? Маменька смотрела так пристально.

И в какое трудное положение поставила я его! Как остаться обедать?

Боже мой, что со мной, бедной, будет?

Есть одно средство, — говорит он, — нет, мой милый, нет никакого средства!

Нет, есть средство, — вот оно: окно. Когда будет уже слишком тяжело, брошусь из него.

Какая я смешная: „когда будет слишком тяжело“ — а теперь-то?

А когда бросишься в окно, как быстро, быстро полетишь, — будто не падаешь, а в самом деле летишь, — это, должно быть, очень приятно. Только потом ударишься о тротуар — ах, как жестко! и больно? нет, я думаю, боли не успеешь почувствовать, — а только очень жестко!

Да ведь это один, самый коротенький миг; а зато перед этим — воздух будто самая мягкая перина, — расступается так легко, нежно... Нет, это хорошо...

Да, а потом? Будут все смотреть — голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи... Нет, если бы можно было на это место посыпать чистого песка, — здесь и песок-то все грязный... нет, самого белого, самого чистого... вот бы хорошо было. И лицо бы осталось не разбитое, чистое, не пугало бы никого.

А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо; это очень, очень хорошо. А бросаться из окна нехорошо. А это — хорошо.

Как они громко там говорят. Что они говорят? — Нет, ничего не слышно.

И я бы оставила ему записку, в которой бы все написала. Ведь я ему тогда сказала: „нынче день моего рождения“. Какая смелая тогда я была. Как это я была такая? Да ведь я тогда была глупенькая, ведь я тогда не понимала.

Да, какие умные в Париже бедные девушки! А что же, разве я не буду умной? Вот, как смешно будет: входят в комнату — ничего не видно, только угарно, и воздух зеленый; испугались: что такое? где Верочка? маменька кричит на папеньку: что ты стоишь, выбей окно! — выбили окно, и видят: я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. — „Верочка, ты угорела?“ — а я молчу. — „Верочка, что ты молчишь?“ — „Ах, да она удушилась“ — Начинают кричать, плакать. Ах, как это будет смешно, что они будут плакать, и маменька станет рассказывать, как она меня любила.

Да, а ведь он будет жалеть. — Что ж, я ему оставлю записку.

Да, посмотрю, посмотрю, да и сделаю, как бедные парижские девушки. Ведь если я скажу, так сделаю. Я не боюсь.

Да и чего тут бояться? ведь это так хорошо! Только вот подожду, какое это средство, про которое он говорит. Да нет, никакого нет. Это только так, он успокаивал меня.

Зачем это люди успокаивают? Вовсе не нужно успокаивать. Разве можно успокаивать, когда нельзя помочь? Ведь вот он умный, а тоже так сделал. Зачем это он сделал? Это не нужно.

Что ж это он так говорит? Будто ему весело, такой веселый голос!

Неужели он в самом деле придумал средство?

Да нет, средства никакого нет.

А если б он не придумал, разве бы он был веселый? „Что ж это он придумал?“»

XVII

— Верочка, иди обедать! — крикнула Марья Алексевна.

В самом деле, Павел Константиныч возвратился, пирог давно готов, — не кондитерский, а у Матрены, с начинкою из говядины от вчерашнего супа.

— Марья Алексевна, вы не пробовали никогда перед обедом рюмку водки? Это очень полезно, особенно вот этой, горькой померанцевой. Я вам говорю как медик. Пожалуйста, попробуйте. Нет, нет, непременно попробуйте. Я как медик предписываю попробовать.

— Разве только медика надобно слушать, и то полрюмочки.

— Нет, Марья Алексевна, полрюмочки не принесет пользы.

— А сами-то что же, Дмитрий Сергеич?

— Стар стал, остепенился, Марья Алексевна. Зарок дал.

— В самом деле, согревает как будто бы!

— В том и польза, Марья Алексевна, что согревает.

«Какой он веселый, в самом деле! Неужели в самом деле есть средство? И как это он с нею так подружился? А на меня и не смотрит, — ах, какой хитрый!»

Сели за стол.

— А вот мы с Павлом Константинычем этого выпьем, так выпьем. Эль — это все равно, что пиво, — не больше, как пиво. Попробуйте, Марья Алексевна.

— Если вы говорите, что пиво, позвольте, — пива почему не выпить!

(«Господи, сколько бутылок! Ах, какая я глупенькая! Так вот она дружба-то!»)

(«Экая шельма какой! Сам-то не пьет. Только губы приложил к своей ели-то. А славная эта ель, — и будто кваском припахивает, и сила есть, хорошая сила есть. Когда Мишку с нею окучу, водку брошу, все эту ель стану пить. — Ну, этот ума не пропьет! Хоть бы приложился, каналья! Ну, да мне же лучше. А поди, чай, ежели бы захотел пить, здоров пить».)

— Да вы бы сами выкушали хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеич.

— Э, на моем веку много выпито, Марья Алексевна, — в запас выпито, надолго станет! Не было дела, не было денег — пил; есть дело, есть деньги, — не нужно вина, и без него весело.

И таким образом идет весь обед. Подают кондитерский пирог.

— Милая Матрена Степановна, а что к этому следует?

— Сейчас, Дмитрий Сергеич, сейчас, — Матрена возвращается с бутылкою шампанского.

— Вера Павловна, вы не пили, и я не пил. Теперь выпьем и мы. Здоровье моей невесты и вашего жениха!

«Что это?» — «Неужели это?» — думает Верочка.

— Дай бог вашей невесте и верочкину жениху счастья, — говорит Марья Алексевна: — а нам, старикам, дай бог поскорее верочкиной свадьбы дожидаться.

— Ничего, скоро дождетесь, Марья Алексевна. Да, Вера Павловна? Да!

«Неужели он в самом деле это говорит?» — думает Верочка.

— Да, Вера Павловна, разумеется, да. Говорите же «да».

— Да, — говорит Верочка.

— Так, Вера Павловна, что понапрасну маменьку вводить в сомнение. «Да», и только. Так теперь надобно второй тост. За скорую свадьбу Веры Павловны! Пейте, Вера Павловна! ничего, хорошо будет. Чокнемтесь. За вашу скорую свадьбу!

Чокаются.

— Дай бог, дай бог! Благодарю тебя, Верочка, утешаешь ты меня, Верочка, на старости лет! — говорит Марья Алексевна и утирает слезы. Английская ель и мараскин привели ее в чувствительное настроение духа.

— Дай бог, дай бог, — повторяет Павел Константиныч.

— Как мы довольны вами, Дмитрий Сергеич, — говорит Марья Алексевна по окончании обеда; — уж как довольны! у нас же да нас же угостили; — вот уж, можно сказать, праздник сделали! — Глаза ее смотрят уже более приятно, нежели бодро.

Не все-то так хитро делается, как хитро выходит, Лопухов не рассчитывал на этот результат, когда покупал вино: он хотел только дать взятку Марье Алексевне, чтоб не потерять ее благосклонности, назвавшись на обед. Станет ли она напиваться при

постороннем человеке, которому хоть и сочувствует во всем, но не доверяет, потому что кому же она может доверять? — Да и сама она не ждала от себя такого быстрого образа действий: она располагала отложить основательное наслаждение до после-чаю. Но слаб каждый человек. Против водки и других знакомых вкусов она устояла бы, но эль и тому подобные прелести соблазнили ее неопытность.

Обед вышел совершенно парадный и барский, и потому Марья Алексевна распорядилась, чтобы Матрена поставила самовар, как следует после барского обеда. Но эту деликатностью воспользовались только она да Лопухов. Верочка сказала, что не хочет чаю, и ушла в свою комнату. Павел Константиныч, человек необразованный, тотчас после последнего блюда пошел прилечь, как всегда, Дмитрий Сергеич пил медленно; выпив чашку, спросил другую. Тут Марья Алексевна уже изнемогла, извинилась тем, что чувствует себя нехорошо с самого утра, — гость просил не церемониться и остался один. Выпил вторую чашку, выпил третью и задремал в креслах, должно быть, тоже налился, как наше-то золото, по рассуждению Матрены. А золото уже храпело; должно быть, этот храп разбудил Дмитрия Сергеича, когда Матрена окончательно ушла в кухню, убрав самовар и чашки.

XVIII

— Простите меня, Вера Павловна, — сказал Лопухов, входя в ее комнату, — как тихо он говорит, и голос дрожит, а за обедом кричал, — и не «друг мой», а «Вера Павловна»: — простите меня, что я был дерзок. Вы знаете, что я говорил: да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны.

— Милый мой! Ты видел, я плакала, когда ты вошел, — это от радости.

Лопухов поцеловал ее руку, и много раз поцеловал ее руку.

— Вот, мой милый, ты меня выпускаешь на волю из подвала: какой ты умный и добрый. Как ты это вздумал?

— Да как танцевали мы с тобою тогда, так и вздумал.

— Милый мой, и я тогда же подумала, что ты добрый. Выпускаешь меня на волю, мой милый. Теперь я готова терпеть; теперь я знаю, что уйду из подвала, теперь мне будет не так душно в нем, теперь ведь я уж знаю, что выйду из него. А как же я уйду из него, мой милый?

— А вот как, Верочка. Теперь уж конец апреля. В начале июля кончатся мои работы по Академии, — их надо кончить, чтобы можно было нам жить. Тогда ты и уйдешь из подвала. Только месяца три потерпи еще, даже меньше. Ты уйдешь. Я получу должность врача. Жалованье небольшое; но так и быть, буду иметь несколько практики, — насколько будет необходимо, — и будем жить.

— Ах, мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так: я не хочу жить на твои деньги. Ведь я и теперь имею уроки. Я их потеряю тогда — ведь маменька всем расскажет, что я злодейка. Но найдутся другие уроки. Я стану жить. Да, ведь так надобно? Ведь мне не должно жить на твои деньги?

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— Ах, еще спрашивает, кто сказал. Да не ты ли сам толковал все об этом? А в твоих книгах? в них целая половина об этом написана.

— В книгах? Я говорил тебе это? Да когда же, Верочка?

— Ах, когда! А кто говорил, что все основано на деньгах? Кто это говорил, Дмитрий Сергеич?

— Ну, так что же?

— А ты думаешь, я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывести заключение из посылок?

— Да какое же заключение? Ты бог знает что говоришь, мой милый друг Верочка.

— Ах, хитрец! Он хочет быть деспотом, хочет, чтоб я была его рабой! Нет-с, этого не будет, Дмитрий Сергеич, — понимаете?

— Да ты скажи, я и пойму.

— Все основано на деньгах, говорите вы, Дмитрий Сергеич; у кого деньги, у того власть и право, говорят ваши книги; значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него, — так-с, Дмитрий Сергеич? Вы полагали, что я этого не понимаю, что я буду вашей рабой, — нет, Дмитрий Сергеич, я не позволю вам быть деспотом надо мною; вы хотите быть добрым, благодетельным деспотом, а я этого не хочу, Дмитрий Сергеич! Ну, мой миленький, а еще как будем жить? Ты будешь резать руки и ноги людям, поить их гадкими микстурами, а я буду давать уроки на фортепьяно. А еще как мы будем жить?

— Так, так, Верочка. Всякий пусть охраняет свою независимость всеми силами, от всякого, как бы ни любил его, как бы ни верил ему. Удастся тебе то, что ты говоришь, или нет, не знаю, но это почти все равно: кто решился на это, тот уже почти оградил себя: он уже чувствует, что может обойтись сам собою, отказаться от чужой опоры, если нужно, и этого чувства уже почти довольно. А ведь какие мы смешные люди, Верочка! ты говоришь: «не хочу жить на твой счет», а я тебя хвалю за это. Кто же так говорит, Верочка?

— Смешные, так смешные, мой миленький, — что нам за дело? Мы станем жить по-своему, как нам лучше. Как же мы будем жить еще, мой миленький?

— Вера Павловна, я вам предложил свои мысли об одной стороне нашей жизни, — вы изволили совершенно ниспровергнуть их вашим планом, назвали меня тираном, поработителем, — извольте же придумывать сами, как будут устроены другие стороны наших отношений! Я считаю напрасным предлагать свои соображения, чтоб они были точно так же изломаны вами. Друг мой, Верочка, да ты сама скажи, как ты думаешь жить; наверное мне останется только сказать: моя милая! как она умно думает обо всем!

— Это чтоб вы изволите говорить комплименты? Вы хотите быть любезным? Но я слишком хорошо знаю: льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности. Прошу вас вперед говорить проще! Милый мой, ты захвалишь меня! Мне стыдно, мой милый, — нет, не хвали меня, чтоб я не стала слишком горда.

— Хорошо, Вера Павловна, я начну говорить вам грубости, если вам это приятнее. В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно мужские мысли.

— Ах, мой милый, скажи: что это значит эта «женственность»? Я понимаю, что женщина говорит контральтом, мужчина — баритоном, так что ж из этого? стоит ли толковать из-за того, чтоб мы говорили контральтом? Стоит ли упрашивать нас об этом? зачем же все так толкуют нам, чтобы мы оставались женственны? Ведь это глупость, мой милый?

— Глупость, Верочка, и очень большая пошлость.

— Так я, мой милый, уж и не буду заботиться о женственности; извольте, Дмитрий Сергеич, я буду говорить вам совершенно мужские мысли о том, как мы будем жить. Мы будем друзьями. Только я хочу быть первым твоим другом. Ах, я еще тебе не говорила, как я ненавижу этого твоего милого Кирсанова!

— Не следует, Верочка: он очень хороший человек.

— А я его ненавижу. Я запрещаю тебе видеться с ним.

— Прекрасное начало. Так запугана моим деспотизмом, что хочет сделать мужа куклою. И как же нам с ним не видеться, когда мы живем вместе?

— Да, и все сидите обнявшись

— Конечно. За чаем и за обедом. Только руки заняты, трудно обняться-то.

— И целые дин неразлучны.

— Вероятно. Он с своею комнатою, я — с своею, почти неразлучны.

— А если так, почему ж тебе и не перестать с ним видеться вовсе?

— Да ведь мы дружны, иногда хочется поговорить, и говорим, пока не в тягость друг другу.

— Все сидят вместе, обнимаются и ссорятся, обнимаются и ссорятся. Ненавижу его.

— Да с чего ты это взяла, Верочка? Ссориться мы ни разу не ссорились. Живем почти врознь, дружны, это правда, но что ж из этого?

— Ах, мой милый, как я тебя обманула, как я тебя славно обманула! Ты не хотел мне сказать, как мы с тобой будем жить, а сам все рассказал! Как я тебя обманула! Слушай же, как мы будем жить, — по твоим же рассказам. Во-первых, у нас будут две комнаты, твоя и моя, и третья, в которой мы будем пить чай, обедать, принимать гостей, которые бывают у нас обоих, а не у тебя одного, не у меня одной. Во-вторых, я в твою комнату не смею входить, чтоб не надоедать тебе; ведь Кирсанов не смеет, — потому-то вы и не ссоритесь. Ты в мою также. Это второе. Теперь третье, — ах, мой милый, я и забыла спросить об этом: Кирсанов вмешивается в твои дела или ты в его? Вы имеете право спрашивать друг друга о чем-нибудь?

— Э, да ведь теперь уж я знаю, к чему этот Кирсанов! Не скажу,

— Нет, я его все-таки ненавижу. И не сказывай, не нужно. Я сама знаю: не имеете права ни о чем спрашивать друг друга. Итак, в-третьих: я не имею права ни о чем спрашивать тебя, мой милый. Если тебе хочется или надобно сказать мне что-нибудь о твоих делах, ты сам мне скажешь. И точно то же наоборот. Вот три правила. Что еще?

— Верочка, второе правило требует объяснений. Мы видимся с тобою в нейтральной комнате за чаем и за обедом. Теперь представь себе такой случай. Мы напились чаю поутру, я сижу в своей комнате и не смею носа показать в твою, значит, не увижу тебя до обеда — так ведь?

— Конечно.

— Прекрасно. Приходит ко мне знакомый и говорит, что в два часа будет у меня другой знакомый; а я в час ухожу по делам; я могу попросить тебя передать этому знакомому, который зайдет в два часа, ответ, какой ему нужен, — могу я просить тебя об этом, если ты думаешь оставаться дома?

— Конечно, можешь. Возьмусь ли и за это, — другой вопрос. Если я отказываюсь, ты не можешь претендовать, не можешь и спрашивать, почему я отказываюсь. Но спросить, не соглашусь ли я оказать тебе эту услугу, — спросить об этом ты можешь.

— Прекрасно. Но ведь за чаем я еще не знал этого, а войти в твою комнату не могу. Как же я спрошу?

— О, боже, как он прост, — это маленькое дитя! Какое недоумение, скажите пожалуйста! Вы делаете вот как, Дмитрий Сергеич. Вы выходите в нейтральную комнату и говорите: «Вера Павловна!» Я отвечаю из своей комнаты: «что вам угодно, Дмитрий Сергеич?» Вы говорите: «я ухожу; без меня зайдет ко мне господин А. (вы называете фамилию вашего знакомого). У меня есть некоторые сведения для передачи ему. Могу ли я просить вас, Вера Павловна, передать их ему?» Если я отвечаю «нет», наш разговор кончен. Если я отвечаю «да», я выхожу в нейтральную комнату, и вы сообщаете мне, что я должна передать вашему знакомому. Теперь вы знаете, маленькое дитя, как надобно поступать?

— Да, милая Верочка, шутки шутками, а ведь в самом деле лучше всего жить, как ты говоришь. Только откуда ты набралась таких мыслей? Я-то их знаю, да я помню, откуда я их вычитал. А ведь до ваших рук эти книги не доходят. В тех, которые я тебе давал, таких частных не было. Слышать? — не от кого было. Ведь едва ли не первого меня ты встретила из порядочных людей.

— Ах, мой милый, да разве трудно до этого додуматься? Ведь я видала семейную жизнь, — я говорю не про свою семью: она такая особенная, — но ведь у меня есть же подруги, я же бывала в их семействах; боже мой, сколько неприятностей между мужьями и женами — ты не можешь себе вообразить, мой милый!

— Ну, я-то, Верочка, воображаю.

— Знаешь ли, что мне кажется, мой милый? Так не следует жить людям, как они живут: все вместе, все вместе. Надобно видеться между собою или только по делам, или когда собираются вместе отдохнуть, повеселиться. Я всегда смотрю и думаю: отчего с посторонними людьми каждый так деликатен? отчего при чужих людях все стараются казаться лучше, чем в своем семействе? — и в самом деле, при посторонних людях бывают лучше, — отчего это? Отчего с своими хуже, хоть их и больше любят, чем с чужими?

Знаешь, мой милый, об чем бы я тебя просила: обращай со мною всегда так, как обращался до сих пор; ведь это не мешало же тебе любить меня, ведь все-таки мы с тобою были друг другу ближе всех. Как ты до сих пор держал себя? Отвечал ли неучтиво, делал ли выговоры? — нет! Говорят, как сто можно быть неучтивым с посторонней женщиною или девушкой, как можно делать ей выговоры? Хорошо, мой милый: вот я твоя невеста, буду твоя жена, а ты все-таки обращай со мною, как велят обращаться с посторонней: это, мой друг, мне кажется, лучше для того, чтобы было прочное согласие, чтобы поддерживалась любовь. Так, мой милый?

— Я не знаю, Верочка, что мне и думать о тебе. Да ты меня и прежде удивляла.

— Миленький мой, ты хочешь хвалить меня! Нет, мой друг, это понять не так трудно, как тебе кажется. Такие мысли не у меня одной, мой милый: они у многих девушек и молоденьких женщин, таких же простеньких, как я. Только им нельзя сказать своим женихам или мужьям того, что они думают; они знают, что за это про них подумают: ты безнравственная. Я за то тебя и полюбила, мой милый, что ты не так думаешь. Знаешь, когда я тебя полюбила, когда мы в первый раз разговаривали на мое рождение? как ты стал говорить, что женщины бедные, что их жалко: вот я тебя и полюбила.

— А я когда тебя полюбил? в тот же день, это уж я говорил, только когда?

— Какой ты смешной, миленький! Так сказал, что нельзя не угадать; а угадаю, опять станешь хвалить.

— А ты все-таки угадай.

— Ну, конечно, когда: когда я спросила, правда ли, что можно сделать, чтобы людям хорошо было жить.

— За это надобно опять поцеловать твою ручку, Верочка.

— Полно, мой милый, это мне не нравится, когда у женщин целуют руки.

— Почему же, Верочка?

— Ах, мой милый, ты сам знаешь, почему — зачем же у меня спрашиваешь? Не спрашивай так, мой миленький.

— Да, мой друг, это правда: не следует так спрашивать. Это дурно. Я стану спрашивать только тогда, когда в самом деле не знаю, что ты хочешь сказать. А ты хотела сказать, что ни у кого не следует целовать руки.

Верочка захохотала.

— Вот теперь я тебя прощаю, потому что самой удалось над тобою посмеяться. Видишь, хотел меня экзаменовать, а сам не знал главной причины, почему это нехорошо. Ни у кого не следует целовать руки, это правда, но ведь я не об этом говорила, не вообще, а только о том, что не надобно мужчинам целовать рук у женщин. Это, мой милый, должно бы быть очень обидно для женщин; это значит, что их не считают такими же людьми, думают, что мужчина не может унижить своего достоинства перед женщиною, что она настолько ниже его, что, сколько он ни унижайся перед нею, он все не ровный ей, а гораздо выше ее. А ведь ты не так думаешь, мой миленький, так зачем же тебе целовать у меня руку? А послушай, что мне показалось, мой миленький; как будто мы с тобою не жених с невестой?

— Да, это правда, Верочка, мало похожего; только что же такое — мы с тобою?

— Бог знает что, мой миленький, — или вот что: будто мы давно, давно повенчаны.

— Да что же, мой друг: ведь это и правда. Старые друзья, ничего не переменялось.

— Только одно переменялось, мой миленький: что я теперь знаю, что из подвала на волю выхожу.

XIX

Так они поговорили, — странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой, — и пожали друг другу руки, и пошел себе Лопухов домой, и Верочка заперла за ним дверь сама, потому что Матрена засиделась в полпивной, надеясь на то, что ее золото еще долго прохрапит. И действительно, ее золото еще долго храпело.

Возвратившись домой часу в седьмом, Лопухов хотел приняться за работу, но долго не мог приняться. Голова была занята не тем, а все тем же, чем всю длинную дорогу от соседства Семеновского моста до Выборгской. Конечно, любовными мечтами. Да, ими, только не совсем любовными и не совсем мечтами. Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические интересы, о них-то Лопухов и размышлял. Понятное дело: материалист, все только думает о выгодах. Он и действительно думал все о выгодах, вместо высоких поэтических и пластических мечтаний, он занимался такими любовными мечтами, которые приличны грубому материалисту.

«Жертва — ведь этого почти никак нельзя будет выбить из ее головы. А это дурно. Когда думаешь, что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему же несколько натянуты. А ведь узнает. Приятели объяснят, что вот какая предстояла карьера. Да хоть и не объясняли бы, сама сообразит: „ты, мой друг, для меня вот от чего отказался, от карьеры, которой ждал“, — ну, положим, не денег, — этого не взведут на меня ни приятели, ни она сама, — ну, хоть и то хорошо, что не будет думать, что „он для меня остался в бедности, когда без меня был бы богат“. Этого не будет думать. Но узнает, что я желал ученой известности и получил бы. Вот и будет сокрушаться: „ах, какую он для меня принес жертву!“ И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы, — надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто и не приносит; это фальшивое понятие: жертва — сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот поди ты, растолкуй это. В теории-то оно понятно; а как видит перед собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой благодетель. И ведь уж показался всход этой будущей жатвы: „ты, говорит, меня из подвала выпустил, — какой ты для меня добрый“. Очень нужно было бы мне выпускать тебя, если бы самому это не нравилось. Это я тебя выпускаю, ты думаешь? — стал бы заботиться, как же, жди, как бы это не доставляло мне самому удовольствия! Может быть, я самого себя выпустил. Да, разумеется, себя: самому жить хочется, любить хочется, — понимаешь? — самому, для себя все делаю. Как бы это сделать, чтобы не развилось в ней это вредное чувство признательности, которое стало бы тяготить ее. Ну, да как-нибудь сделаем, — она же умная, поймет, что это пустяки. Конечно, я не так располагал сделать. Думал, что если она успеет уйти из семейства, то отложить дело года на два; в это время успел бы стать профессором, денежные дела были бы удовлетворительны. Вышло, что отсрочить нельзя. Ну, так мне-то какой убыток? Разве я о себе, что ли, думал, когда соображал, что прежде надобно устроить денежные дела? Мужчине что? Мужчине ничего. Недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — какого рожна горячего мне еще нужно? А это у меня будет. Стало быть, какой же мне убыток? Но женщине, молоденькой, хорошенькой, этого мало. Ей нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это у ней не будет денег. Конечно, она не будет думать, что этого недостает ей; она умная, честная девушка; будет думать себе: это пустяки, это дрянь, которую я презираю, — и будет презирать. Да разве помогает то, что человек не знает, чего ему недостает, или даже уверен, что оно ему не нужно? Это иллюзия, фантазия. Натура заглушена рассудком, обстоятельствами, гордостью, — и молчит, и не дает о себе голоса сознанию, а молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Не так следует жить молоденькой, не так следует жить красавице; это не годится, когда она и одета не так хорошо, как другие, и не блестит, по недостатку средств. Жаль тебя, бедненькая: я думал, что все-таки несколько получше для тебя устроится. А мне что? Я в выигрыше, — еще неизвестно, пошла ли бы она за меня через два года; а теперь идет...»

— Дмитрий, иди чай пить.

— Иду. — Лопухов отправился в комнату Кирсанова, и на дороге успел думать: «а ведь как верно, что Я всегда на первом плане — и начал с себя и кончил собою. И с чего начал: „жертва“ — какое плутовство; будто я от ученой известности отказываюсь, и от кафедры — какой вздор! Не все ли равно, буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм его

мыслями на практике».

Я обо всем предупреждаю читателя, потому скажу ему, чтоб он не предполагал этот монолог Лопухова заключающим в себе таинственный намек автора на какой-нибудь важный мотив дальнейшего хода отношений между Лопуховым и Верою Павловною; жизнь Веры Павловны не будет подтачиваться недостатком возможности блистать в обществе и богато наряжаться, и ее отношения к Лопухову не будут портиться «вредным чувством» признательности. Я не из тех художников, у которых в каждом слове скрывается какая-нибудь пружина, я пересказываю то, что думали и делали люди, и только; если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказываю его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе моего романа.

— Теперь, Александр, не будешь на меня жаловаться, что отстаю от тебя в работе. Наверстаю.

— Что, кончил хлопоты по делу этой девушки?

— Кончил.

— Поступает в гувернантки к Б.?

— Нет, в гувернантки не поступает. Уладилось иначе. Ей теперь можно будет вести пока сносную жизнь в ее семействе.

— Что ж, это хорошо. В гувернантках ведь тяжело. А я, брат, теперь с зрительным нервом покончил и принимаюсь за следующую пару. А ты на чем остановился?

— Да мне еще надобно будет кончить работу над ...

И пошли анатомические и физиологические термины.

XX

«Теперь 28 апреля. Он сказал, что его дела устроятся в начале июля, — положим, 10-го: ведь это уж не начало. 10-е число можно взять. Или, для верности, возьму 15-е; нет, лучше 10-е, — сколько же остается дней? Нынешнего числа уж нечего считать, — остается только пять часов его; в апреле остается 2 дня; май — 31 да 2, 33; июнь — 30 да 33, 63; из июля 10 дней, — всего только 73 дня, — много ли это, только 73 дня? и тогда свободна! Выйду из этого подвала! Ах, как я счастлива! Миленький мой, как он умно это вздумал! Как я счастлива!»

* * *

Это было в воскресенье вечером. В понедельник — урок, перенесенный со вторника.

— Друг мой, миленький мой, как я рада, что опять с тобою, хоть на минуточку! Знаешь, сколько мне осталось сидеть в этом подвале? Твои дела когда кончатся? к 10-му июля кончатся?

— Кончатся, Верочка.

— Так теперь мне осталось сидеть в подвале только 72 дня, да нынешний вечер. Я один день уж вычеркнула, — ведь я сделала табличку, как делают пансионеры и школьники, и вычеркиваю дни. Как весело вычеркивать!

— Миленькая моя Верочка, миленькая моя. Да, уж недолго тебе тосковать здесь, два с половиною месяца пройдут скоро, и будешь свободна.

— Ах, как весело будет! Только ты, мой миленький, теперь вовсе не говори со мною, и не гляди на меня, и на фортепьяно не каждый раз будем играть. И не каждый раз буду выходить при тебе из своей комнаты. Нет, не утерплю, выйду всегда, только на одну минуточку, и так холодно буду смотреть на тебя, неласково. И теперь сейчас уйду в свою комнату. До свиданья, мой милый. Когда?

— В четверг.

— Три дня! Как долго! А тогда уж только 68 дней останется.

— Считай меньше: около 7-го числа тебе можно будет вырваться отсюда.

— 7-го? Так уж теперь только 69 дней? Как ты меня обрадовал! До свиданья, мой миленький!

* * *

Четверг.

— Мой миленький, только 66 дней мне здесь сидеть.

— Да, Верочка, время идет скоро.

— Скоро? Нет, мой милый. Ах какие долгие стали дни! В другое время, кажется, успел бы целый месяц пройти, пока шли эти три дня. До свиданья, мой миленький, нам ведь не надобно долго говорить, — ведь мы хитрые, — да? — До свиданья. Ах, еще 66 дней мне осталось сидеть в подвале!

(«Гм, гм. Мне, разумеется, незаметно — за работою время летит. Да ведь и не я в подвале-то. Гм, гм! Да».)

* * *

Суббота.

— Ах, мой миленький, еще 64 дня осталось! Ах, какая тоска здесь! Эти два дня шли дольше тех трех дней. Ах, какая тоска! Гадость какая здесь, если бы ты знал, мой миленький. До свиданья, мой милый, голубчик мой, — до вторника; а эти три дня будут дольше всех пяти дней. До свиданья, мой милый. («Гм, гм! Да! Гм! — Глаза не хороши. Она плакать не любит. Это нехорошо. Гм! Да!»)

* * *

Вторник.

— Ах, мой миленький, я уж и дни считать перестала. Не проходят, вовсе не проходят,

— Верочка, мой дружок, у меня есть просьба к тебе. Нам надобно поговорить хорошенько. Ты очень тоскуешь по воле. Ну, дай себе немножко воли, ведь нам надобно поговорить?

— Надобно, мой миленький, надобно.

— Так вот о чем я тебя прошу. Завтра, когда тебе будет удобнее, — в какое время, все равно, только скажи, — будь опять на той скамье на Конно-гвардейском бульваре. Будешь?

— Буду, мой миленький, непременно буду. В 11 часов, — так?

— Хорошо. Благодарю тебя, дружок.

— До свиданья, мой миленький. Ах, как я рада, что ты это вздумал! Как это я сама, глупенькая, не вздумала. До свиданья. Поговорим; все-таки я вздохну вольным воздухом. До свиданья, миленький. В 11 часов непременно.

* * *

Пятница.

— Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — Верочка покраснела, — к Невскому проспекту, маменька.

— Так и я с тобою пойду, Верочка, мне в Гостиный двор нужно. Да что это, Верочка, говоришь, идешь на Невский, а такое платье надела! Надобно получше, когда на Невский, — там люди.

— Мне это платье нравится. Подождите одну секунду, маменька: я только возьму в своей комнате одну вещь.

Отправляются. Идут. Дошли до Гостиного двора, идут по той линии, которая вдоль

Садовой, уж недалеко до угла Невского, — вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свиданья, маменька; не знаю, скоро ли; если не будете сердиться, до завтра.

— Что, Верочка? я что-то не разберу.

— До свиданья, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеичем третьего дня повенчались. — Поезжай в Караванную, извозчик.

— Четвертачок, сударыня.

— Хорошо, поезжай поскорее. Он к вам нынче вечером зайдет, маменька. А вы не сердитесь на меня, маменька.

Эти слова уж едва долетели до Марьи Алексевны.

— Да ты не в Караванную, я только так сказала, чтобы ты не думал долго, чтобы мне поскорее от этой дамы уехать. Налево, по Невскому. Мне гораздо дальше Караванной — на Васильевский Остров, в 5 линию, за Средним проспектом. Поезжай хорошенько, прибавлю.

— Ах, сударыня, обмануть меня изволили! Надо уж будет полтинничек положить.

— Если хорошо поедешь.

XXI

Свадьба устроилась не очень многосложным, хоть и не совсем обыкновенным образом.

Дня два после разговора о том, что они жених и невеста, Верочка радовалась близкому освобождению; на третий день уже вдвое несноснее прежнего стал казаться ей «подвал», как она выражалась, на четвертый день она уж поплакала, чего очень не любила, но поплакала немножко, на пятый побольше, на шестой уже не плакала, а только не могла заснуть от тоски.

Лопухов посмотрел, — когда произнес монолог «гм, гм», — посмотрел в другой раз, и произнес монолог «гм, гм! Да! гм!» Первым монологом он предположил что-то, только что именно предположил, сам не знал, а во втором монологе объяснил себе, какое именно в первом сделал предположение. «Не годится, показавши волю, оставлять человека в неволе», и после этого думал два часа: полтора часа по дороге от Семеновского моста на Выборгскую и полчаса на своей кушетке; первую четверть часа думал, не нахмуривая лба, остальные час и три четверти думал, нахмуривая лоб, по прошествии же двух часов ударил себя по лбу и, сказавши «хуже гоголевского почтмейстера, телятина!», — посмотрел на часы. — «10, еще можно» — и пошел с квартиры.

Первую четверть часа, не хмурия лба, он думал так: «все это вздор, зачем нужно кончать курс? И без диплома не пропаду, — да и не нужно его. Уроками, переводами достану не меньше, — пожалуй, больше, чем получал бы от своего докторства. Пустяки».

Стало быть, тут нечего было хмурить лба, — сказать правду; задача оказалась не головоломна отчасти и потому, что еще с прошлого урока предчувствовалось ему нечто вроде такого размышления. Это он понял теперь. А если бы ему напомнить размышление, начинавшееся на тему «жертва» и кончавшееся мыслями о нарядах, то можно бы его уличить, что предчувствовалось уж и с той самой поры нечто вроде этого обстоятельства, потому что иначе незачем было бы и являться тогда в нем мысли: «отказываюсь от ученой карьеры». Тогда ему представлялось, что не отказывается, а инстинкт уже говорил: «откажешься, отсрочки не будет». И если бы уличить Лопухова, как практического мыслителя, в тогдашней его неосновательности «не отказываюсь», он восторжествовал бы, как теоретик, и сказал бы: «вот вам новый пример, как эгоизм управляет нашими мыслями! — ведь я должен бы был видеть, но не видел, потому что хотелось видеть не то — и нашими поступками, потому что зачем же заставил девушку сидеть в подвале лишнюю неделю, когда следовало предвидеть и все устроить тогда же!»

Но ничего этого не вспомнилось и не подумалось ему, потому что надобно было нахмурить лоб и, нахмуриив его, думать час и три четверти над словами: «кто повенчает?» —

и все был один ответ: «никто не повенчает!» И вдруг вместо «никто не повенчает» — явилась у него в голове фамилия «Мерцалов»; тогда он ударил себя по лбу и выбрал справедливо: как было с самого же начала не вспомнить о Мерцалове? А отчасти и несправедливо: ведь не привычно было думать о Мерцалове, как о человеке венчающем.

В Медицинской академии есть много людей всяких сортов, есть, между прочим, и семинаристы: они имеют знакомства в Духовной академии, — через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной академии, — не близкий, но хороший знакомый, — кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесконечными коридорами на Васильевском острове. Вот к нему-то и отправился Лопухов, и по экстренности случая и позднему времени, даже на извозчике.

Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение, — то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии.

— Вот какое и вот какое дело, Алексей Петрович! Знаю, что для вас это очень серьезный риск; хорошо, если мы помиримся с родными, а если они начнут дело? вам может быть беда, да и наверное будет; но... Никакого «но» не мог отыскать в своей голове Лопухов: как, в самом деле, убеждать человека, чтобы он за нас клал шею в петлю!

Мерцалов долго думал, тоже искал «но» для уполномочения себя на такой риск и тоже не мог придумать никакого «но».

— Как же с этим быть? Ведь хотелось бы... то, что вы теперь делаете, сделал и я год назад, да стал неволен в себе, как и вы будете. А совестно: надо бы помочь вам. Да, когда есть жена, оно и страшновато идти без оглядки.

— Здравствуй, Алеша. Мои все тебе кланяются, здравствуйте, Лопухов: давно мы с вами не виделись. Что вы тут говорите про жену? Все у вас жены виноваты, — сказала возвратившаяся от родных дама лет 17, хорошенькая и бойкая блондинка.

Мерцалов пересказал жене дело. У молодой дамы засверкали глазки.

— Алеша, ведь не съедят же тебя!

— Есть риск, Наташа.

— Очень большой риск, — подтвердил Лопухов.

— Ну, что делать, рискни, Алеша, — я тебя прошу.

— Когда ты меня не станешь осуждать, Наташа, что я забыл про тебя, идя на опасность, так разговор кончен. Когда хотите венчаться, Дмитрий Сергеевич?

Следовательно, препятствий не оставалось.

В понедельник поутру Лопухов сказал Кирсанову:

— Знаешь ли что, Александр? уж верно подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей. Бери мои бумаги, препараты, я бросаю. Выхожу из Академии, вот и просьба. Женюсь.

Лопухов рассказал историю в двух словах.

— Если бы ты был глуп, или бы я был глуп, сказал бы я тебе, Дмитрий, что этак делают сумасшедшие. А теперь не скажу. Все возражения ты, верно, постарательнее моего обдумал. А и не обдумывал, так ведь все равно. Глупо ли ты поступаешь, умно ли — не знаю; но, по крайней мере, сам не стану делать той глупости, чтобы пытаться отговаривать, когда знаю, что не отговорить. Я тебе тут нужен на что-нибудь, или нет?

— Нужно квартиру приискать где-нибудь в дешевой местности, три комнаты. Мне надобно хлопотать в Академии, чтобы поскорее выдали бумаги, чтобы завтра же. Так поищи квартиру ты.

Во вторник Лопухов получил свои бумаги, отправился к Мерцалову, сказал, что свадьба завтра.

— В какое время для вас удобнее, Алексей Петрович? — Алексею Петровичу все равно, он завтра весь день дома. — Я думаю, впрочем, что успею прислать Кирсанова предупредить вас.

В среду в 11 часов, пришедши на бульвар, Лопухов довольно долго ждал Верочку и начинал уже тревожиться; но вот и она, так спешит.

— Верочка, друг мой, не случилось ли чего с тобой?

— Нет, миленький, ничего, я опоздала только оттого, что проспала.

— Это значит, ты во сколько же часов уснула?

— Миленький, я не хотела тебе сказать; в семь часов, миленький, а то все думала; нет, раньше, в шесть.

— Вот о чем я хотел тебя просить, моя милая Верочка: нам надобно поскорее посоветоваться чтоб обоим быть спокойными.

— Да, миленький, надобно. Поскорее надобно.

— Так дня через четыре, через три...

— Ах, если бы так, миленький, вот бы был умник.

— Через три, верно, уж найду квартиру, закуплю, что нужно по хозяйству, тогда нам и можно будет поселиться с тобою вместе?

— Можно, мой голубчик, можно.

— Но ведь прежде надобно повенчаться.

— Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде.

— Так венчаться и нынче можно, — об этом я и хотел просить тебя.

— Пойдем, миленький, повенчаемся; да как же ты все это устроил? какой ты умненький, миленький!

— А вот на дороге все расскажу, поедем. Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к Мерцалову; Мерцалов жил в том же доме с бесконечными коридорами.

— Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться?

— Да, мой миленький; только как это стыдно!

— Так вот, чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь.

— Так и быть, мой миленький, поцелуемся, да разве нельзя без этого?

— Да ведь в церкви же нельзя без этого, так приготовимся. Они поцеловались.

— Миленький, хорошо, что успели приготовиться, вон уж сторож идет, теперь в церкви не так стыдно будет.

Но пришел не сторож, — сторож побежал за дьячком, — вошел Кирсанов, дожидавшийся их у Мерцалова.

— Верочка, вот это и есть Александр Матвееч Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться.

— Вера Павловна, за что же вы хотите разлучить наши нежные сердца?

— За то, что они нежные, — сказала Верочка, подавая руку Кирсанову, и, все еще продолжая улыбаться, задумалась: — а сумею ли я любить его, как вы? Ведь вы его очень любите?

— Я? я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.

— И его не любите?

— Жили — не ссорились, и того довольно.

— И он вас не любил?

— Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него: ты любил, что ли, меня, Дмитрий?

— Особенной ненависти к тебе не имел.

— Ну, когда так, Александр Матвееч, я не буду запрещать ему видеться с вами, и сама буду любить вас.

— Вот это гораздо лучше, Вера Павловна.

— А вот и я готов, — подошел Алексей Петрович: — пойдете в церковь. — Алексей Петрович был весел, шутил; но когда начал венчанье, голос его несколько задрожал — а если начнется дело? Наташа, ступай к отцу, муж не кормилец, а плохое житье от живого мужа на отцовских хлебах! впрочем, после нескольких слов он опять совершенно овладел собою.

В половине службы пришла Наталья Андреевна, или Наташа, как звал ее Алексей Петрович; по окончании свадьбы попросила молодых зайти к ней; у ней был приготовлен

маленький завтрак: зашли, посмеялись, даже протанцовали две кадрили в две пары, даже вальсировали; Алексей Петрович, не умеющий танцевать, играл им на скрипке, часа полтора пролетели легко и незаметно. Свадьба была веселая.

— Меня, я думаю, дома ждут обедать, — сказала Верочка: — пора. Теперь, мой миленький, я и три и четыре дня проживу в своем подвале без тоски, пожалуй, и больше проживу, — стану я теперь тосковать! ведь мне теперь нечего бояться — нет, ты меня не провожай: я поеду одна, чтобы не увидели как-нибудь.

— Ничего, не съедят меня, не совеститесь, господа! — говорил Алексей Петрович, провожая Лопухова и Кирсанова, которые оставались еще несколько минут, чтобы дать отъехать Верочке: — я теперь очень рад, что Наташа ободрила меня.

На другой день, после четырехдневных поисков, нашлась хорошая квартира, в дальнем конце 5 линии Васильевского острова. Имея всего рублей 160 в запасе, Лопухов рассудил с своим приятелем, что невозможно ему с Верочкою думать теперь же обзаводиться своим хозяйством, мебелью, посудой; потому и наняли три комнаты с мебелью, посудой и столом от жильцов мещан: старика, мирно проводившего дни свои с лотком пуговиц, лент, булавок и прочего у забора на Среднем проспекте между 1-ю и 2-ю линией, а вечера в разговорах со своею старухой, проводившею дни свои в штопанье сотен и тысяч всякого старья, приносимого к ней охапками с толкучего рынка. Прислуга тоже была от хозяев, то есть сами хозяева. Все это стоило 30 рублей в месяц. Тогда, — лет 10 тому назад, — были в Петербурге времена, еще дешевые по петербургскому масштабу. При таком устройстве были в готовности средства к жизни на три, пожалуй, даже на четыре месяца; ведь на чай 10 рублей в месяц довольно? а в четыре месяца Лопухов надеялся найти уроки, какую-нибудь литературную работу, занятия в какой-нибудь купеческой конторе, — все равно. В тот же день, как была приискана квартира, — и, действительно, квартира отличная: для того-то и искали долго, зато и нашли, — Лопухов, бывши на уроке, в четверг по обыкновению сказал Верочке:

— Завтра переезжай, мой друг; вот адрес. Больше теперь говорить не стану, чтоб не заметили.

— Миленький мой, ты спас меня!

Теперь как уйти из дому? Сказать? Верочка и подумала было, но мать бросится драться, может запереть. Верочка рассудила оставить письмо в своей комнате. Когда Марья Алексевна, услышав, что дочь отправляется по дороге к Невскому, сказала, что идет вместе с нею, Верочка вернулась в свою комнату и взяла письмо: ей показалось, что лучше, честнее будет, если она сама в лицо скажет матери — ведь драться на улице мать не станет же? только надобно, когда будешь говорить, несколько подалее от нее остановиться, поскорее садиться на извозчика и ехать, чтоб она не успела схватить за рукав.

Таким-то манером и произошла эффектная сцена у лавки Рузанова.

XXII

Но мы видели только еще половину этой сцены.

С минуту, — нет, несколько, поменьше, — Марья Алексевна, не подозревавшая ничего подобного, стояла ошеломленная, стараясь понять и все не понимая, что ж это говорит дочь, что ж это значит и как же это? Но только с минуту или поменьше... Она встрепенулась, вскрикнула какое-то ругательство, но дочь уже выезжала на Невский; Марья Алексевна пробежала несколько шагов в ту сторону, — надобно извозчика, — бросилась на тротуар — «извозчик!» — «куда прикажете, сударыня?» — куда она прикажет? Послышалось, что дочь сказала «в Караванную», но повернула дочь налево по Невскому. Куда же прикажет она? «Догонять ту, мерзавку!» — «Догонять, сударыня? Да вы скажите толком, куда; а то как же без ряды ехать, а какой конец, неизвестно». — Марья Алексевна совершенно вышла из себя, ругнулась на извозчика, — «пьяна ты, барыня, я вижу, вот что», сказал извозчик и отошел. Марья Алексевна и ругала его вдогонку и кричала других извозчиков, и бросалась в разные

стороны на несколько шагов, и махала руками, и окончательно установилась опять под колоннадой, и топала, и бесилась; а вокруг нее уже стояло человек пять парней, продающих разную разность у колонн Гостиного двора; парни любовались на нее, обменивались между собою замечаниями более или менее неуважительного свойства, обращались к ней с похвалами остроумного и советами благонамеренного свойства: «Ай да барыня, в кою пору успела нализаться, хват, барыня!» — «барыня, а барыня, купи пяток лимонов-то у меня, ими хорошо закусывать, для тебя дешево отдам!» — «барыня, а барыня, не слушай его, лимон не поможет, а ты поди опохмелись!» — «барыня, а барыня, здорова ты ругаться; давай об заклад ругаться, кто кого переругает!» — Марья Алексевна, сама не помня, что делает,хватила по уху ближайшего из собеседников — парня лет 17, не без грации высывавшего ей язык: шапка слетела, а волосы тут, как раз под рукой; Марья Алексевна вцепилась в них. Это привело остальных собеседников в неописанный энтузиазм: — «Ай да барыня! — Валяй его, барыня!» Некоторые замечали: «Федька, а ты дай-ко ей сдачи», но большинство собеседников было решительно на стороне Марьи Алексевны: «Куда Федьке против барыни! — Валяй, барыня, валяй Федьку, так ему, подлецу, и надо». Было уже много зрителей, кроме собеседников: и извозчики, и сидельцы из лавок, и прохожие. Марья Алексевна как будто опомнилась и, последним машинальным движением далеко отшатнув федькину голову, зашагала через улицу. Восторженные похвалы собеседников провожали ее.

Она увидела, что идет домой, когда прошла уже ворота Пажеского корпуса, взяла извозчика и приехала счастливо, побила у двери отворившего ей Федю, бросилась к шкафчику, побила высунувшуюся на шум Матрену, бросилась опять к шкафчику, бросилась в комнату Верочки, через минуту выбежала к шкафчику, побежала опять в комнату Верочки, долго оставалась там, потом пошла по комнатам, ругаясь, но бить было уже некого: Федя бежал на грязную лестницу, Матрена, подсматривая в щель Верочкиной комнаты, бежала опроретью, увидев, что Марья Алексевна поднимается, в кухню не попала, а очутилась в спальне под кроватью Марьи Алексевны, где и пробыла благополучно до мирного востребования.

Долго ли, коротко ли Марья Алексевна ругалась и кричала, ходя по пустым комнатам, определить она не могла, но, должно быть, долго, потому что вот и Павел Константиныч явился из должности, — досталось и ему, идеально и материально досталось. Но как всему бывает конец, то Марья Алексевна закричала: «Матрена, подавай обедать!» Матрена увидела, что штурм кончился, вылезла из-под кровати и подала обедать.

За обедом Марья Алексевна, действительно, уже не ругалась, а только рычала и уже без всяких наступательных намерений, а так только, для собственного употребления; потом лечь не легла, но села и сидела одна, и молчала, и ворчала, потом и ворчать перестала, а все молчала, наконец, крикнула:

— Матрена! разбуди барина, вели ко мне придти.

Матрена, в ожидании распоряжений не смеявшая уйти ни в полпивную, ни куда, исполнила приказ, Павел Константиныч явился.

— Ступай к хозяйке, скажи, что дочь по твоей воле вышла за этого черта. Скажи: я против жены был. Скажи: нам в угоду сделал, потому что видел, не было вашего желания. Скажи: моя жена была одна виновата, я вашу волю исполнял. Скажи: я сам их и свел. Понял, что ли?

— Понял, Марья Алексевна; это ты очень умно рассуждаешь.

— Ну, ступай же! Хоть обедает, все равно вызови, подними от стола. Покуда не знает.

Справедливость слов Павла Константиныча была так осязательна, что хозяйка поверила бы им, если б он и не обладал даром убедительной благоговейности изложения. А убедительность этого дара была так велика, что хозяйка простила бы Павла Константиныча, если б и не было осязательных доказательств, что он постоянно действовал против жены и нарочно свел Верочку с Лопуховым, чтобы отвратить неблагородную женитьбу Михаила Иваныча. — Как же они повенчались? — Павел Константиныч не пожалел приданого; дал 5 000 Лопухову деньгами, свадьбу и обзаведенье сделал все на свой счет. Через него они и

записочками передавались; у его сослуживца на квартире, у столоначальника Филантьева, — женатого человека, ваше превосходительство, потому что хоть я и маленький человек, но девическая честь дочери, ваше превосходительство, мне дорога; имели при мне свиданья, и хоть наши деньги не такие, чтобы мальчишке в таких летах учителей брать, но якобы предлог дал, ваше превосходительство, и т. д. Неблагоденствие жены Павел Константиныч изобличал в самых черных порицаниях.

Как было не убедиться и не помиловать Павла Константиныча? А главное — великая, неожиданная радость! Радость смягчает сердце. Хозяйка начала свою отпустительную речь очень длинным пояснением гнусности мыслей и поступков Марьи Алексевны и сначала требовала, чтобы Павел Константиныч прогнал жену от себя; но он умолял, да и она сама сказала это больше для блезиру, чем для дела; наконец, резолюция вышла такая, что Павел Константиныч остается управляющим, квартира на улицу отнимается, и переводится он на задний двор с тем, чтобы жена его не смела и показываться в тех местах первого двора, на которые может упасть взгляд хозяйки, и обязана выходить на улицу не иначе, как воротами дальними от хозяйкиных окон. Из 20 р. в месяц прибавки к жалованью 15 р. отнимаются, а 5 р. оставляются в вознаграждение как усердия управляющего к воле хозяйки, так и его расходов по свадьбе дочери.

XXIII

У Марьи Алексевны было в мыслях несколько проектов о том, как поступить с Лопуховым, когда он явится вечером. Самый чувствительный состоял в том, чтобы спрятать на кухне двух дворников, — они бросятся на Лопухова по данному сигналу и исколотят его. Самый патетический состоял в том, чтобы торжественно провозгласить устами своими и Павла Константиныча родительское проклятие ослушной дочери и ему, разбойнику, с объяснением, что оно сильно, — даже земля, как известно, не принимает праха проклятых родителями. Но это были точно такие же мечты, как у хозяйки мысль развести Павла Константиныча с женою; такие проекты, как всякая поэзия, служат, собственно, не для практики, а для отрады сердцу, ложась основанием для бесконечных размышлений наедине и для иных изъяснений в беседах будущности, что, дескать, я вот что могла (или, смотря по полу лица: мог) сделать и хотела (хотел), да по своей доброте пожалела (пожалел).

Проекты побить Лопухова и проклясть дочь были идеальной стороною мыслей и чувств Марьи Алексевны. Реальная сторона ее ума и души имела направление не столь возвышенное и более практическое — разница, неизбежная по слабости всякого человеческого существа. Когда Марья Алексевна опомнилась у ворот Пажеского корпуса, постигла, что дочь действительно исчезла, вышла замуж и ушла от нее, этот факт явился ее сознанию в форме следующего мысленного восклицания: «обокрала!» И всю дорогу она продолжала восклицать мысленно, а иногда и вслух: «обокрала!» Поэтому, задержавшись лишь на несколько минут сообщением скорби своей Феде и Матрене по человеческой слабости, — всякий человек увлекается выражением чувств до того, что забывает в порыве души житейские интересы минуты, — Марья Алексевна пробежала в комнату Верочки, бросилась в ящики туалета, в гардероб, окинула все торопливым взглядом, — нет, кажется, все цело! — и потом принялась поверять это успокоительное впечатление подробным пересмотром. Оказалось, что, действительно, все вещи и платья остались у нее, кроме пары простеньких золотых серег да старого кисейного платья, да старого пальто, в которых Верочка пошла из дому. По этому вопросу реального направления Марья Алексевна ждала, что Верочка даст Лопухову список своих вещей, чтобы требовать их, и твердо решила из золотых и других таких вещей не давать ничего, из платьев дать четыре, которые попроще, и дать несколько белья, которое побольше изношено: ничего не дать нельзя, благородное приличие не позволяет, а Марья Алексевна всегда строго соблюдала благородное приличие.

Другой вопрос реальной жизни был: отношение к хозяйке; мы уже видели, что Марье Алексевне удалось разрешить его удачно.

Теперь третий вопрос: что делать с мерзавкою и подлецом; с дочерью и непрошенным зятем? Проклясть? — это не трудно, но годится только, как десерт к чему-нибудь существенному. Существенное возможно только одно: подать просьбу, начать дело, отдать под суд. Сначала, в волнении чувств, Марья Алексевна смотрела на это решение вопроса идеально, и с идеальной точки зрения оно представлялось очень привлекательным. Но по мере того, как успокоивалась кровь от утомления бурею, дело стало обнаруживаться в другом виде. Никто не знал лучше Марьи Алексевны, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела, как обольщавшие ее своею идеальною прелестью, ведутся большими и большими деньгами и тянутся очень долго и, вытянув много денег, кончаются совершенно ничем.

Что же делать? В конце концов выходило, что предстоят только два занятия: поругаться с Лопуховым до последней степени удовольствия и отстоять от его требований верочкины вещи, а средством к тому употребить угрозу подачею жалобы. Но поругаться надобно очень сильно, в полную сласть.

Не удалось и поругаться. Пришел Лопухов и начал в том слогe, что мы с Верочкою просим вас, Марья Алексевна и Павел Константиныч, извинить нас, что без вашего согласия...

Марья Алексевна на этом слове закричала: «Я прокляну ее, негодницу!»

Но вместо слово «негодницу», успело выговориться только «него...», потому что Лопухов сказал очень громко: «Вашей брани я слушать не стану, я пришел говорить о деле. Вы сердитесь и не можете говорить спокойно, так мы поговорим одни, с Павлом Константинычем, а вы, Марья Алексевна, пришлите Федю или Матрену позвать нас, когда успокоитесь», и, говоря это, уже вел Павла Константиныча из зала в его кабинет, а говорил так громко, что перекричать его не было возможности, а потому и пришлось остановиться в своей речи.

Довел он Павла Константиныча до дверей зала, тут остановился, обернулся и сказал:

— А то, Марья Алексевна, теперь же и с вами буду говорить; только ведь о деле надобно говорить спокойно.

Она, было, опять готовилась закричать, но он опять перебил:

— Ну, не можете говорить спокойно, так мы уходим.

— Да ты зачем уходишь, дурак? — прокричала Марья Алексевна.

— Да он меня ведет.

— А если Павлу Константинычу было бы тоже не угодно говорить хладнокровно, так и я уйду, пожалуй, — мне все равно. Только зачем же вы, Павел Константиныч, позволяете называть себя такими именами? Марья Алексевна дел не знает, она, верно, думает, что с нами можно бог знает что сделать, а вы чиновник, вы деловой порядок должны знать. Вы скажите ей, что теперь она с Верочкой ничего не сделает, а со мной и того меньше.

«Знает, подлец, что с ним ничего не сделаешь», — подумала Марья Алексевна и сказала Лопухову, что в первую минуту она погорячилась, как мать, а теперь может говорить хладнокровно.

Лопухов возвратился с Павлом Константинычем, сели; Лопухов попросил ее слушать, пока он доскажет то, что начнет, а ее речь будет впереди, и начал говорить, сильно возвышая голос, когда она пробовала перебивать его, и благополучно довел до конца свою речь, которая состояла в том, что развенчать их нельзя, потому дело со (Сторешниковым — дело пропавшее, как вы сами знаете, стало быть, и утруждать себя вам будет напрасно, а впрочем, как хотите: коли лишние деньги есть, то даже советую попробовать; да что, и огорчаться-то не из чего, потому что ведь Верочка никогда не хотела идти за Сторешникова, стало быть, это дело всегда было несбыточное, как вы и сами видели, Марья Алексевна, а девушку, во всяком случае, надобно отдавать замуж, а это дело вообще убыточное для родителей: надобно приданое, да и свадьба, сама по себе, много денег стоит, а главное, приданое; стало быть, еще надобно вам, Марья Алексевна и Павел Константиныч, благодарить дочь, что она вышла замуж без всяких убытков для вас! Вот он так говорил, и прочее, в этом роде, и

говорил он обстоятельно битых полчаса.

Когда он кончил, то Марья Алексевна видела, что с таким разбойником нечего говорить, и потому прямо стала говорить о чувствах, что она была огорчена, собственно, тем, что Верочка вышла замуж, не испросивши согласия родительского, потому что это для материнского сердца очень больно; ну, а когда дело пошло о материнских чувствах и огорчениях, то, натурально, разговор стал представлять для обеих сторон более только тот интерес, что, дескать, нельзя же не говорить и об этом, так приличие требует; удовлетворили приличию, поговорили, — Марья Алексевна, что она, как любящая мать, была огорчена, — Лопухов, что она, как любящая мать, может и не огорчаться; когда же исполнили меру приличия надлежащею длиною рассуждений о чувствах, перешли к другому пункту, требуемому приличием, что мы всегда желали своей дочери счастья, — с одной стороны, а с другой стороны отвечалось, что это, конечно, вещь несомненная; когда разговор был доведен до приличной длины и по этому пункту, стали прощаться, тоже с объяснениями такой длины, какая требуется благородным приличием, и результатом всего оказалось, что Лопухов, понимая расстройство материнского сердца, не просит Марью Алексевну теперь же дать дочери позволения видеться с нею, потому что теперь это, быть может, было бы еще тяжело для материнского сердца, а что вот Марья Алексевна будет слышать, что Верочка живет счастливо, в чем, конечно, всегда и состояло единственное желание Марьи Алексевны, и тогда материнское сердце ее совершенно успокоится, стало быть, тогда она будет в состоянии видеться с дочерью, не огорчаясь.

Так на том и порешили и расстались миролюбиво.

— Ну, разбойник! — сказала Марья Алексевна, проводив зятя.

Ночью даже приснился ей сон такого рода, что сидит она под окном и видит: по улице едет карета, самая отличная, и останавливается эта карета, и выходит из кареты пышная дама, и мужчина с дамой, и входят они к ней в комнату, и дама говорит: посмотрите, мамаша, как меня муж наряжает! и дама эта — Верочка. И смотрит Марья Алексевна, материя на платье у Верочки самая дорогая, и Верочка говорит: «одна материя 500 целковых стоит, и это для нас, мамаша, пустяки: у меня таких платьев целая дюжина; а вот, мамаша, это дороже стоит, — вот, на пальцы посмотрите! — Смотрит Марья Алексевна на пальцы Верочке, а на пальцах перстни с крупными брильянтами! — этот перстень, мамаша, стоит 2 000 р., а этот, мамаша, дороже — 4 000 р., а вот на грудь посмотрите, мамаша, эта брошка еще дороже: она стоит 10 000 р.!» А мужчина говорит, и этот мужчина Дмитрий Сергеич: «это все для нас еще пустяки, милая маменька, Марья Алексевна! а настоящая-то важность вот у меня в кармане: вот, милая маменька, посмотрите, бумажник, какой толстый и набит все одними 100-рублевыми бумажками, и этот бумажник я вам, мамаша, дарю, потому что и это для нас пустяки! а вот этого бумажника, который еще толще, милая маменька, я вам не подарю, потому что в нем бумажек нет, а в нем все банковые билеты да векселя, и каждый билет и вексель дороже стоит, чем весь бумажник, который я вам подарил, милая маменька, Марья Алексевна!» — Умели вы, милый сын, Дмитрий Сергеич, составить счастье моей дочери и всего нашего семейства; только откуда же, милый сын, вы такое богатство получили? — «Я, милая мамаша, пошел по откупной части!»

И, проснувшись, Марья Алексевна думает про себя: «истинно, ему бы по откупной части идти».

XIV

Похвальное слово Марье Алексевне

Вы перестаете быть важным действующим лицом в жизни Верочки, Марья Алексевна, и, расставаясь с вами, автор этого рассказа просит вас не сетовать на то, что вы отпускаетесь со сцены с развязкою, несколько невыгодной для вас. Не думайте, что вы через то лишились уважения. Вы остались одураченною, но это нисколько не роняет нашего мнения о вашем уме, Марья Алексевна: ваша ошибка не свидетельствует против вас. Вы встретились с

людьми, которых не привыкли встречать прежде, и не грех вам было обмануться в них, судя по прежним вашим опытам. Вся ваша прежняя жизнь привела вас к заключению, что люди делятся на два разряда — дураков и плутов: «кто не дурак, тот плут, непременно плут, думали вы, а не плутом может быть только дурак». Этот взгляд был очень верен, Марья Алексевна, до недавнего времени был совершенно верен, Марья Алексевна. Вы встречали, Марья Алексевна, людей, которые говорили очень хорошо, и вы видели, что все эти люди, без исключения, — или хитрецы, морочащие людей хорошими словами, или взрослые глупые ребята, не знающие жизни и не умеющие ни за что приняться. Потому вы, Марья Алексевна, не верили хорошим словам, считали их за глупость или обман, и вы были правы, Марья Алексевна. Ваш взгляд на людей уже совершенно сформировался, когда вы встретили первую женщину, которая не была глупа и не была плутовка; вам простительно было смутиться, остановиться в раздумье, не зная, как думать о ней, как обращаться с нею. Ваш взгляд на людей уже совершенно сформировался, когда вы встретили первого благородного человека, который не был простодушным, жалким ребенком, знал жизнь не хуже вас, судил о ней не менее верно, чем вы, умел делать дело не менее основательно, чем вы: вам простительно было ошибиться и принять его за такого же пройдоху, как вы. Эти ошибки, Марья Алексевна, не уменьшают моего уважения к вам как женщине умной и дельной. Вы вывели вашего мужа из ничтожества, приобрели себе обеспечение на старость лет, — это вещи хорошие, и для вас были вещами очень трудными. Ваши средства были дурны, но ваша обстановка не давала вам других средств. Ваши средства принадлежат вашей обстановке, а не вашей личности, за них бесчестье не вам, — но честь вашему уму и силе вашего характера.

Довольны ли вы, Марья Алексевна, признанием этих ваших достоинств? Конечно, вы остались бы довольны и этим, потому что вы и не думали никогда претендовать на то, что вы мила или добра; в минуту невольной откровенности вы сами признавали, что вы человек злой и нечестный, и не считали злобы и нечестности своей бесчестьем для себя, доказывая, что иною вы не могли быть при обстоятельствах вашей жизни. Стало быть, вы не станете много интересоваться тем, что к похвале вашему уму и силе вашего характера не прибавлено похвалы вашим добродетелям, вы и не считаете себя имеющею их, и не считаете достоинством, а скорее считаете принадлежностью глупости иметь их. Стало быть, вы не стали бы требовать еще другой похвалы, кроме той, прежней. Но я могу сказать в вашу честь еще одно: из всех людей, которых я не люблю и с которыми не желал бы иметь дела, я все-таки охотнее буду иметь дело с вами, чем с другими. Конечно, вы беспощадна там, где это нужно для вашей выгоды. Но если вам нет выгоды делать кому-нибудь вред, вы не станете делать его из каких-нибудь глупых страстишек; вы рассчитываете, что не стоит вам терять время, труд, деньги без пользы. Вы, разумеется, рады были бы изжарить на медленном огне вашу дочь и ее мужа, но вы умели обуздать мстительное влечение, чтобы холодно рассудить о деле, и поняли, что изжарить их не удалось бы вам; а ведь это великое достоинство, Марья Алексевна, уметь понимать невозможность! Поняв ее, вы и не стали начинать процесса, который не погубил бы людей, раздраживших вас; вы разочли, что те мелкие неприятности, которые наделали бы им хлопотами по процессу, подвергали бы саму вас гораздо большим хлопотам и убыткам, и потому вы не начали процесса. Если нельзя победить врага, если нанесением ему мелочного урона сам делаешь себе больше урона, то незачем начинать борьбы; поняв это, вы имеете здравый смысл и мужество покоряться невозможности без напрасного деланья вреда себе и другим, — это также великое достоинство, Марья Алексевна. Да, Марья Алексевна, с вами еще можно иметь дело, потому что вы не хотите зла для зла в убыток себе самой — это очень редкое, очень великое достоинство, Марья Алексевна! Миллионы людей, Марья Алексевна, вреднее вас и себе и другим, хотя не имеют того ужасного вида, какой имеете вы. Из тех, кто не хорош, вы еще лучше других именно потому, что вы не безрассудны и не тупоумны. Я рад был бы стереть вас с лица земли, но я уважаю вас: вы не портите никакого дела; теперь вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием

станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно, — стало быть, даже и действовать честно и благородно, если так будет нужно. Вы способны к этому, Марья Алексевна; не вы виноваты в том, что эта способность бездействует в вас, что, вместо нее, действуют противоположные способности, но она есть в вас, а этого нельзя сказать о всех. Дрянные люди не способны ни к чему; вы только дурной человек, а не дрянный человек. Вы выше многих и по нравственному масштабу.

— Довольны ли вы, Марья Алексевна?

— Что, батюшка мой, мне быть довольной-то? Обстоятельства-то мои плоховаты?

— Это и прекрасно, Марья Алексевна.

Глава третья Замужество и вторая любовь

I

Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопуховых шли хорошо. Он уже имел порядочные уроки, достал работу у какого-то книгопродавца — перевод учебника географии. Вера Павловна также имела два урока, хотя незавидных, но и не очень плохих. Вдвоем они получили уже рублей 80 в месяц; на эти деньги нельзя жить иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось, средства их понемногу увеличивались, и они рассчитывали, что месяца еще через четыре или даже скорее они могут уже обзавестись своим хозяйством (оно так и было потом).

Порядок их жизни устроился, конечно, не совсем в том виде, как полушутя, полусерьезно устраивала его Вера Павловна в день своей фантастической помолвки, но все-таки очень похоже на то. Старик и старуха, у которых они поселились, много толковали между собою о том, как странно живут молодые, — будто вовсе и не молодые, — даже не муж и жена, а так, точно не знаю кто.

— Значит, как сам вижу и ты, Петровна, рассказываешь, на то похоже, как бы сказать, она ему сестра была, али он ей брат.

— Нашел чему приравнять! Между братом да сестрой никакой церемонности нет, а у них как? Он встанет, пальто наденет и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уж одета выходит. Какие тут брат с сестрой? А ты так скажи: вот бывает тоже, что небогатые люди, по бедности, живут два семейства в одной квартире, — вот этому можно приравнять.

— И как это, Петровна, чтобы муж к жене войти не мог: значит, не одета, нельзя. Это на что похоже?

— А ты то лучше скажи, как они вечером-то расходятся. Говорит: прощай, миленький, спокойной ночи! Разойдутся, оба по своим комнатам сидят, книжки читают, он тоже пишет. Ты слушай, что раз было. Легла она спать, лежит, читает книжку; только слышу через перегородку-то, — на меня тоже что-то сна не было, — слышу, встает. Только, что же ты думаешь? Слышу, перед зеркалом стала, значит, волосы пригладить. Ну, вот как есть, точно к гостям выйти собирается. Слышу, пошла. Ну, и я в коридор вышла, стала на стул, гляжу в его-то комнату через стекло. Слышу, подошла. — «Можно войти, миленький?» А он: «Сейчас, Верочка, минуточку погоди». — Лежал тоже. Платышко натянул, пальто: ну, думаю, галстук подвязывать станет: нет, галстука не подвязал, оправился, говорит: «Теперь можно, Верочка». «Я, говорит, вот в этой книжке не понимаю, ты растолкуй». Он сказал. «Ну, говорит, извини, миленький, что я тебя побеспокоила». А он говорит: «Ничего, Верочка, я так лежал, ты не помешала». Ну, она и ушла.

— Так и ушла?

— Так и ушла.

— И он ничего?

— И он ничего. Да ты не тому дивись, что ушла, а ты тому дивись: оделась, пошла; он говорит: погоди; оделся, тогда говорит: войди. Ты про это говори: какое это заведение?

— А вот что, Петровна: это секта такая, значит; потому что есть всякие секты.

— Оно похоже на то. Смотри, что верно твое слово.

Другой разговор.

— Данилыч, а ведь я ее спросила про ихнее заведение. Вы, говорю, не рассердитесь, что я вас спрошу: вы какой веры будете? — Обыкновенно какой, русской, говорит. — А супругник ваш? — Тоже, говорит, русской. — А секты никакой не изволите содержать? — Никакой, говорит: а вам почему так вздумалось? — Да вот почему, сударыня, барыней ли, барышней ли, не знаю, как вас назвать: вы с муженьком-то живете ли? — засмеялась; живем, говорит.

— Засмеялась?

— Засмеялась: живем, говорит. Так отчего же у вас заведение такое, что вы не одетая не видите его, точно вы с ним не живете? — Да это, говорит, для того, что зачем же растрепанной показываться? а секты тут никакой нет. — Так что же такое? говорю. — А для того, говорит, что так-то любви больше, и размолвок нет.

— А это точно, Петровна, что на правду похоже. Значит, всегда в своем виде.

— Да она еще какое слово сказала: ежели, говорит, я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели, так мужа-то я больше люблю, значит, к нему-то и вовсе не приходится не умывшись на глаза лезть.

— А и это на правду похоже, Петровна: отчего же на чужих-то жен зарятся? Оттого, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Так в писании говорится, в притчах Соломоных. Премудрейший царь был.

II

Хорошо шла жизнь Лопуховых. Вера Павловна была всегда весела. Но однажды, — это было месяцев через пять после свадьбы, — Дмитрий Сергеич, возвратившись с урока, нашел жену в каком-то особенном настроении духа: в ее глазах сияла и гордость, и радость. Тут Дмитрий Сергеич припомнил, что уже несколько дней можно было замечать в ней признаки приятной тревоги, улыбающегося раздумья, нежной гордости.

— Друг мой, у тебя есть какое-то веселье: что же ты не поделишься со мною?

— Кажется, есть, мой милый, но погоди еще немного: скажу тебе тогда, когда это будет верно. Надобно подождать еще несколько дней. А это будет мне большая радость. Да и ты будешь рад, я знаю; и Кирсанову, и Мерцаловым понравится.

— Но что же такое?

— А ты забыл, мой миленький, наш уговор: не спрашивать? Скажу, когда будет верно.

Прошло еще с неделю.

— Мой миленький, стану рассказывать тебе свою радость. Только ты мне посоветуй, ты ведь все это знаешь. Видишь, мне уж давно хотелось что-нибудь делать. Я и придумала, что надо з завести швейную; ведь это хорошо?

— Ну, мой друг, у нас был уговор, чтоб я не целовал твоих рук, да ведь то говорилось вообще, а на такой случай уговора не было. Давайте руку, Вера Павловна.

— После, мой миленький, когда удастся сделать.

— Когда удастся сделать, тогда и не мне дашь целовать руку, тогда и Кирсанов, и Алексей Петрович, и все поцелуют. А теперь пока я один. И намерение стоит этого.

— Насилие? Я закричу.

— А кричи.

— Миленький мой, я застыжусь и не скажу ничего. Будто уж это такая важность!

— А вот какая важность, мой друг: мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас